

# ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 71 Brisbane, Australia, July 2017



Брисбен

71

Июль 2017 г.

## “The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.  
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”  
Brisbane, Australia.

## «Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.  
Выпуск - 4 раза в год.

## Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

**National Library of Australia cataloguing-in-publication data**  
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

## Index

**ISSN 1443-0266**

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

### Адрес для связи:

[tamaleevsky@optusnet.com.au](mailto:tamaleevsky@optusnet.com.au) или [tmaleevsky10zabelsky@gmail.com](mailto:tmaleevsky10zabelsky@gmail.com)

**\*Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

**Tel:** редакция - (07) 3161-49-27 mobile: 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

**Цена отдельного номера** - \$ 7 плюс пересылка по Австралии и упаковка.

**Стоимость годовой подписки** (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ 36.00



## Святая Троица

Стоят березки трепетно  
Сегодня в нашем храме,  
Травую пахнет, летними  
Душистыми цветами.

Мы чтим Святую Троицу:  
В Трех Лицах Бог един,  
Все – равного достоинства –  
Отец, и Дух, и Сын:

Сын от Отца рождается,  
Исходит - Дух Святой,  
Нас в благодатных таинствах  
Животворит Собой.

Все в мире совершается  
По замыслу Отца  
И в Духе воплощается  
Чрез Господа Христа.

Любовь же - сущность Троицы.  
Бог по любви Своей  
Печется и заботится  
О судьбах всех людей.

У Бога со смирением  
Мы просим даровать  
Нам в вере утверждение  
И Духа благодать.

**Людмила Громова.**  
Сайт «Свете тихий».

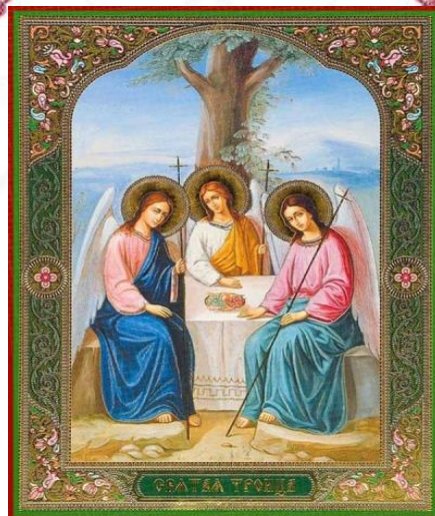
## В поисках солнца

Пойду в поля – покликаю,  
В чащобы – поаукаю.  
Где бродишь, ясноликое?  
Окончится разлука ли?

Весна – девица с норомом –  
Тобою не целована.  
Дни за окошком хворые,  
Ненастьем околдованы.

Июнь в саду, под вишнями,  
Озябнет и расхнычется...  
Согрейте сердце ближнего,  
И солнышко отыщется.

**Алексей Гушан.**  
Сайт «Свете Тихий»



## Не развеют

## извечных тревог...

Не развеют извечных тревог  
Над святынями севера ветры,  
По ухабам забытых дорог  
Пролегли в отчий край километры.

Нежной росписью древних имён  
Лег лишайник на серые скалы,  
Будто поступь минувших времён  
В камни берега вечность вписала.

На прибрежные травы, леса  
И на храма шатёр удлинённый  
Пала мокрядь, несут небеса  
Облака над тайгой затемнённой.

И туманится берег реки,  
И темнеют от сумрака лица.  
Если мгlistые тучи низки,  
Быстро полнится влагой землица.

Благодатную сырость тайги  
Грудь усталая жадно вдыхает.  
Оживают души родники  
И она в тишине воскресает...

**Александр Лазутин**  
Сайт «Свете Тихий» 02-07-2017



*Не жалуйтесь на судьбу.  
Ей, может быть, с вами  
тоже не очень приятно.*

# Основы христианской культуры



## 21. О ДУХОВНОМ КОМПРОМИССЕ

Вопрос о сопротивлении злу - сопротивляться ли ему и как именно - есть вопрос не настроения, не произвола, не вкуса и не темперамента, а вопрос характера и религиозности, вопрос религиозного характера; это вопрос основной религиозной силы-любви, и притом мироприемлющей любви. Вся основная проблема нашего исследования не имеет смысла для того, кто отвергает мир, кто не признает его ценности, не видит заложенных в нем божественных сил и заданий и не приемлет их волю. Внешние проявления зла, с которыми

надлежит бороться, входят в самую ткань отвергаемого мира, и, если в мире нет ничего, что стоило бы оборонять от злодейского нападения, если он заслуживает только того, чтобы отвергнуть его, отвернуться и уйти, то и самая проблема силы и меча неизбежно отпадает и гаснет. Проблема меча есть практическая проблема - и разрешение ее зависит от практического мироприятия, так что отвергающий мир отвергает и меч (но не наоборот). Однако тот, кто не на словах только, не в виде фразы, а действительно отвергает мир, тот не имеет никаких оснований оставлять свою личность в его составе: ибо до тех пор, пока человек соглашается жить в этом мире, он тем самым приемлет его уже самым фактом своего пользования им, пользования его благами и его возможностями. Никакое уединение, никакое пустынножителство, никакое сокращение потребностей не выражает последовательного мироотвержения; напротив - все это остается особым видом мироприятия, и притом утонченного мироприятия, творящего строгий выбор ради обретения нового видения. Одним словом: всякий не убивший себя человек - приемлет мир, и постольку проблема меча имеет для него смысл и значение.

Для христианина вопрос мироприятия разрешается в последовании Христу. Христианин призван идти по Его стопам: как Он - принять мир и не принять зла в мире, как Он - воспринять зло, испытать зло и увидеть, но не принять его, и повести со злом жизненно смертную борьбу. И именно в этом последовании Христу настоящие христиане всегда принимали бремя мира и муку мира, а с тем вместе и муку зла, и бремя борьбы с ним - и в себе самом и в других. И приемля эту муку и борьбу, они готовились и к завершению своего крестного пути: к приятию смерти в борьбе от руки отвергнутого зла.

Чтобы достойно принять мир, надо увидеть с очевидностью дело Божие на земле и творчески принять его как свое собственное всею своею силою, и волею, и деятельностью; не свое дело выдать за Божие, а Божие дело принять как свое. И в ту меру, в какую это удастся человеку, в эту меру он правильно наставит и правильно разрешит проблему меча...

Отвергающие меч настаивают на том, что путь меча есть несправедный путь. Это верно в смысле абсолютной нравственной оценки; это неверно - в смысле указания практического исхода. Понятна мечта о том, чтобы для нравственно-совершенного человека не было непреодолимых препятствий в чисто духовном поборании зла, так чтобы он мог остановить и преобразить всякого злодея одним своим взглядом, словом и движением. Эта мечта понятна: она есть отображение двух скрестившихся идей - идеи богоподобия нравственно-совершенного человека и идеи всемогущества Божия: она как бы ссылается на то, что истинно добродетельный человек приближается к божественному совершенству, от которого увеличивается его духовное могущество так, что перед этим духовным могуществом злодею становится все труднее устоять. Это - благородная, но наивная мечта. И несостоятельность ее обнаруживается тотчас же, как только ее пытаются превратить в универсальное правило поведения. Эта мечта несостоятельна духовно потому, что обращение и преобразование злодея должно быть его личным, самостоятельным актом, пламенем его личной свободы, а не отблеском чужого совершенства, и если бы это могло быть иначе, то он давно уже преобразился бы от дыхания уст Божиих. Эта мечта несостоятельна и исторически: духовная сила праведника имеет свой предел перед лицом сущего злодейства. И казалось бы, что именно христианину не подобало бы переоценивать эту

мечту, имея перед глазами образы многого множества святых, замученных необратившимися и преобразившимися злодеями...

Путь меча есть несправедный путь, но кто же этот человек, который пугается этой несправедности, объявляет ее «злодейством» и бежит от нее? Это тот самый человек, который в течение всей своей жизни не только мирился со всевозможной несправедностью, поскольку она ему была «нужна» или «полезна», но и ныне постоянно грешит со спокойною душою, грешит «в свою пользу» и даже не вспоминает об этом. И вдруг, когда необходимо принять на себя бремя государственности, служение, которое, по глубокому слову Петра Великого, есть подлинно «дело Божие» и потому не терпит «небрежия», - тогда он вспоминает о том, что он непременно должен быть безгрешным праведником, пугается, аффективно объявляет эту несправедность «грехом» и показывает себя «в нетях»...

Да, путь меча есть несправедный путь, но нет такого духовного закона, что идущий через несправедность идет ко греху... Если бы было так, то все люди, как постоянно идущие через несправедность и даже через грех, были бы обречены на безысходную гибель, ибо грех нагромождался бы на грех и неодолимое бремя его тянуло бы человека в бездну. Нет, жизненная мудрость состоит не в мнительном праведничании, а в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступать в несправедность, идя через нее, но не к ней, вступая в нее, чтобы уйти из нее.

Да, путь силы и меча не есть праведный путь. Но разве есть другой, праведный? Не тот ли путь сентиментального непротивления, который уже раскрыт выше как путь предательства слабых, соучастия со злодеем, «совиновности» с пресекающим и в довершение - наивно-лицемерного самодовольства? Конечно, этот путь имеет более «спокойную», более «приличную», менее кровавую внешнюю видимость, но только легкомыслие и злая тупость могут не чувствовать, какою ценою оплачены это «спокойствие» и это «приличие»...

Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует «идеального» по своему совершенству нравственного исхода и не приемлет никакого иного, тот не понимает основной жизненной трагедии: она состоит в том, что из этой ситуации нет идеального исхода. Уже простая наличность противоположной и противодуховной, ожесточенной воли в душе другого человека делает такой безусловно-праведный исход до крайности затруднительным и проблематичным: ибо как не судить и не осудить? как не выйти из полноты любви и не возмутиться духом? как не оторваться и не противостать? Но при наличности подлинного зла, изливающегося во внешние злые деяния, идеально-праведный исход становится мнимым, ложным заданием. Этого исхода нет и быть его не может, ибо дилемма, встающая перед человеком, не оставляет для него места. Она формулирует то великое столкновение между духовным призванием человека и его нравственным совершенством, которое всегда преследует человека в условиях его земной жизни. Божие дело должно быть свободно узрено и добровольно принято каждым из нас; но мало утвердить себя в служении ему, надо быть еще сильным в обороне его. Всегда возможно, что найдутся люди, быть может - кадры, союзы, организации людей, - которые, «свободно» отвергнув Божие дело, утвердятся в противоположном и поведут нападение. И вот злодей, поправший духовное призвание человека и понуждающий к тому же других людей, ставит каждого, принявшего Божье дело, перед дилеммой: предать дело Божие и изменить своему духовному и религиозному призванию, соблюдая свою «справедность», или пребыть верным Богу и призванию, избирая и осуществляя несправедный путь. Из этого положения нет праведного исхода: ибо предающий дело Божие и изменяющий своему духовному призванию только по недомыслию может считать свой исход праведным. И это отсутствие нравственно-совершенного образа действий перед лицом наступающего злодея - необходимо понять и продумать до конца.

При объективном отсутствии праведного исхода самая проблема его оказывается ложною и самое искание его становится безнадежным делом, за безнадежностью которого иногда с успехом укрывается робость и криводушие. Напротив, мужество и честность требуют здесь открытого приятия духовного компромисса.

Если в повседневной жизни и в обычном словоупотреблении компромисс состоит в расчетливой уступке человека, блюдущего свой личный (или групповой) интерес и надеющегося, что меньшая жертва спасет большую выгоду, - то устанавливаемый нами духовный компромисс совершается не в личном интересе и не стремится спасти никакую выгоду. Это есть бескорыстное приятие своей личной несправедности в борьбе со злодеем как врагом Божьего дела. Тот, кто приемлет духовный компромисс, думает не о себе, а о Предмете, и если думает о себе, то не в меру своего житейского интереса, а в меру своего духовного и нравственного напряжения; и если думает все-таки о себе, то меньше, чем тот, кто, укрываясь, дрожит над своей мнимой праведностью.

Компромисс меченосца состоит в том, что он сознательно и добровольно приемлет волею нравственно-неправедный исход как духовно-необходимый; и если всякое отступление от нравственного совершенства есть неправедность, то он берет на себя неправедность; и если всякое сознательное, добровольное допущение неправедности волею - создает вину, то он приемлет и вину своего решения. Если ему до того было доступно величайшее счастье - жить, приближаясь к требованиям совести, то теперь он отказывает себе в этом счастье, как в невозможном. Перед лицом сущего злодея совесть зовет человека к таким свершениям, которые доступны только Божеству и Его всемогуществу и для которых ни мысль, ни язык человека не имеют ни понятий, ни слов. Эти свершения, если бы они были возможны, отрицали бы самый способ разъединенного бытия, присущий людям на земле, и предполагали бы возможность того, чтобы праведник, оставаясь собою, вошел в душу злодея и стал бы им, злодеем, не становясь им до конца, для того чтобы в нем перестать быть злодеем и выйти из него, обратив его в праведника... Но эти свершения по силам не человеку, а Богу, и мечтание о них остается на земле практически бесплодным.

Перед лицом этой невозможности сопротивляющийся должен решиться на духовно необходимый, хоть и неправедный путь. Он должен принять наличную нравственную безвыходность и изжить ее чувством, волею, мыслью, словом и поступком. Желая блага, преданный благу, он видит себя вынужденным во имя своей религиозно-верной цели - взять на себя неправедность и, может быть, вину и как бы отойти от блага, и притом с полным сознанием того, что он совершает. Положение его является нравственно-трагическим, и понятно, что выход из него оказывается по плечу только сильным людям. Но сильный человек утверждает свою силу именно тем, что не бежит от конфликта в мнимо-добродетельную пассивность и не закрывает себе глаза на его трагическую природу, впадая от малодушия в криводушие; сильный человек видит трагичность своего положения и идет ей навстречу, чтобы войти в нее и изжить ее. Он берет на себя неправедность, но не для себя, а во имя Божьего дела. И то, что он делает в этой борьбе, является его собственным поступком, его собственной деятельностью, которую он и не думает приписывать Богу. Это есть его человеческий исход, который он сам осознает как духовный компромисс и который есть в то же время его подвиг: ибо это есть великое, предметное напряжение его ведущей борьбу за благо воли. Подвиг здесь не только в ведении самой борьбы, но и в том духовном напряжении, которое необходимо для открытого и выдержанного приятия возможной вины. Напряжение духа нужно здесь не только для того, чтобы убить злодея, но и для того, чтобы вынести свой поступок и пронести через жизнь совершенное дело, не роняя своего поступка малодушным отречением от его необходимости, но и не идеализируя его нравственного содержания.

Трагедия зла и борьбы с ним разрешается именно через приятие и осуществление этого подвига. И самый подвиг оказывается тем выше, чем живее в совершающем его остается способность освещать его лучом Божественного совершенства. Надо видеть не только необходимость своего напряжения и делания, но и ту человеческую безвыходность, которая его породила. Нужен не целесообразный психический механизм меча, но духовный организм, зрячий в своем решении и сильный до того, чтобы вынести эту зрячьность: чтобы не только свершить поступок, но и осветить его потом Божиим лучом, и увидев неправедность его, снова увидеть его духовную необходимость, и снова свершить его в меру этой необходимости, и принять все это не из личных побуждений, а в религиозном порядке.

Борьба со злом требует всегда героизма. Не только тогда, когда она ведется в форме внутренних усилий, воспитывающих человека и взращивающих его духовные крылья, но и тогда, когда она ведется в форме понуждающего и пресекающего меча. Героизм меча состоит не только в том, что его дело трудно, беспокойно, полно лишений, опасностей и страданий, но и в том, что меченосец нуждается в особых духовных усилиях для ограждения своего личного духовного Кремля: ибо его героизм есть героизм сознательно и убежденно приятой неправедности. Мало того: человек, берущийся за меч в безысходной борьбе со злодеем, героичен потому, что он подьмлет этим бремя мира. Поставленный перед основной трагической дилеммой, не оставляющей для него нравственного исхода, он религиозно приемлет эту безвыходность, и избирая наименее неправедный и наиболее трудный путь меча, он принимает этот путь как свою судьбу.

Религиозное приятие своей судьбы есть тот основной героизм, к которому призван каждый из людей, не к приятию судьбы в смысле квиетизма, или детерминизма, или безволия, или фатализма, но к волевому жизненно-деятельному и религиозно-преданному приятию, которое созерцает жизнь как служение, освещает ее лучом призвания и вливает всю личную силу в рели-

гиозное служение этому религиозному призванию. Судьба человека в том, чтобы в жизни на земле иметь дело с буйством неугворимого зла. Уклониться от этой судьбы нельзя; есть только две возможности: или недостойно отвернуться от нее и недостойно изживать ее в слепоте и малодушии, или же достойно принять ее, осмысливая это принятие как служение и оставаясь верным своему призванию. Но это и значит принять меч во имя Божьего дела.

В этомприятии своей судьбы и меча человек «полагает свою душу, но утверждает свой дух и его достоинство. Он полагает свою душу не только в том низшем смысле, что соглашается отдать свою земную жизнь в борьбе со злодеем, но еще и в том высшем смысле, что берет на себя совершение дел, бремя которых он потом несет, быть может, через всю жизнь, содрогаясь и отвращаясь при непосредственном воспоминании о них. Он принимает не только бремя смерти, но и бремя убийства, и в бремени убийства не только тягостность самого акта, но и тягость решения, ответственности и, может быть, вины. Его духовная судьба ведет его к мечу, он принимает ее, и меч становится его судьбой. И в этом исходе, в этом героическом разрешении основной трагической дилеммы - он не праведен, но прав.

Христос учил не мечу, он учил любви. Но ни разу, ни одним словом не осудил он меча, ни в смысле организованной государственности, для коей меч является последней санкцией, ни в смысле воинского звания и дела. И уже первые ученики его, Апостолы Петр и Павел (1 Петра 2:13-17; Рим 13:1-7), раскрыли положительный смысл этого неосуждения. Правда, Апостолам было дано указание, что меч не их дело и что «все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26:52), и воинствующей обороны для Себя - Христос не восхотел, но именно в этом отказе от обороны, и в вопросе об уплате подати (Мф 22:17-21; Мк 12:14-17), и в разговоре с Пилатом (Ин 18:33-38, 19:9-11) веет тот дух свободной, царственной лояльности, который позднее утверждали Апостолы и который не постигли и утратили в дальнейшем такие мироотрицатели, как Афинагор, Тертуллиан и другие. И вот земная гибель от взятого меча остается высшею Евангельскою «карою», предреченною для меченосца.

Христос учил любви, но именно любовь подымлет многое: и жертву неправедности, и жертву жизни. Да, взявшие меч погибают от меча, но именно любовь может побудить человека принять и эту гибель. Взавший меч готов убить, но он должен быть готов к тому, что убьют его самого: вот почему принятие меча есть принятие смерти, и тот, кто боится смерти, тот не должен братья за меч. Однако в любви не только отпадает страх смерти, но открываются те основы и побуждения, которые ведут к мечу. Смерть есть не только «кара», заложенная в самом мече, она есть еще и живая мера для приемлемости меча. Ибо братья за меч имеет смысл только во имя того, за что человеку действительно стоит умереть: во имя дела Божьего на земле. Бессмысленно братья за меч тому, кто не знает и не имеет в мире ничего выше самого себя и своей личной жизни: ибо ему вернее бросить меч и спастись, хотя бы ценою предательства и унижительной покорности злодеям. Но за Божие дело - в себе самом, в других и в мире - имеет смысл идти на смерть. Ибо умирающий за него - отдает меньшее за большее, личное за сверхличное, смертное за бессмертное, человеческое за Божие. И именно в этой отдаче, именно эту отдачею он делает свое меньшее - большим, свое личное - сверхличным, свое смертным - бессмертным, ибо себе, человеку, он придает достоинство Божьего слуги. Вот в каком смысле смерть есть мера для приемлемости меча.

Весь этот раскрытый и утверждаемый нами духовный компромисс неизбежен для человека в его земной жизни. К нему не сводится, но на нем в последней инстанции покоится начало внешне понуждающей государственности: государственное дело совершенно несводимо к мечу, но меч есть его последняя и необходимая опора. Тот, кто не признает меча, тот разрушает государство, но напрасно он думает, что он избавляет себя этим от компромисса: ибо он только предпочитает безвольный, трусливый, предательский и лицемерный компромисс - компромиссу волевому, мужественному, самоотверженному и честному. Меч как символ человеческого разъединения на жизнь и смерть не есть, конечно, «нравственно лучшее» в отношении человека к человеку. Но это «нравственно нелучшее» - духовно необходимо в жизни людей. Не всякий способен взяться за меч, и бороться им, и остаться в этой борьбе на духовной высоте. Для этого нужны не худшие люди, а лучшие люди, люди, сочетающие в себе благородство и силу, ибо слабые не вынесут этого бремени, а злые изменят самому призванию меча...

Так слагается один из трагических парадоксов человеческой земной жизни: именно лучшие люди призваны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями - вступать с ними в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность, и притом вести эту борьбу не лучшими средствами, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным. Вести государственную борьбу со злодеями - есть дело необходимое и духовно верное, но пути и средства этой борьбы могут быть и бывают вынужденно-неправедные. И вот,

только лучшие люди способны вынести эту несправедливость, не заражаясь ею, найти и соблюсти в ней должную меру, помнить о ее несправедности и о ее духовной опасности и найти для нее личные и общественные противоядия. Счастливы в сравнении с государственными правителями - монахи, ученые, художники и созерцатели: им дано творить чистое дело чистыми руками. Но не суд и не осуждение должны они нести политику и войну, а благодарность к ним, молитву за них, умудрение и очищение: ибо они должны понимать, что их руки чисты для чистого дела только потому, что у других нашлись чистые руки для нечистого дела. Они должны помнить, что если бы у всех людей страх перед грехом оказался сильнее любви к добру, то жизнь на земле была бы совсем невозможна.

В одном из своих писем св. Амвросий Медиоланский рассказывает о той печали, которая охватывает ангелов, когда им приходится покинуть блаженство горнего созерцания с его покоем и чистотою и слетать по повелению Божию на землю, принося злодеям суд, и кару, и огонь Божьего гнева; безрадостно и скорбно благому существу выходить из плеромы, обращаться ко злу и воздавать ему по справедливости... И вот в этом образе каждый благородный носитель власти и меча должен найти для себя утешение и источник силы.

И.А. Ильин.



*Большая империя, как и большой пирог, легче всего объедается с краев.*

(Бенджамин Франклин).



## Муза

Когда я ошибкой перо окуну,  
 Минуя чернильницу, рядом, в луну,-  
 В ползучее озеро черных ночей,  
 В заросший мечтой соловьиный ручей,-  
 Иные созвучья стремятся с пера,  
 На них изумленный налет серебра,  
 Они словно птицы, мне страшно их брать,  
 Но строки, теснясь, заполняют тетрадь.  
 Встречаю тебя, одичалая ночь,  
 И участь у нас, и начало точь-в-точь –  
 Мы обе темны для неверящих глаз,  
 Одна и бессмертна отчизна у нас.  
 Я помню, как день тебя превозмогал,  
 Ты помнишь, как я откололась от скал,  
 Ты вечно сбиваешься с млечных дорог,  
 Ты любишь скрываться в расселинах строк.  
 Исчадь мечты, черновик соловья,  
 Читатель единственный, муза моя,  
 Тебя провожу, не поблагодарив,  
 Но с пеной восторга, бегущей от рифм.

1930

Мария Петровых.



## Звёздный хлеб

Хронологически точно,  
 с бархатным сумраком в лад,  
 падают частые звёзды  
 с неба высокого в сад.  
 Падают с каменным стуком  
 под барабанный отсчёт,  
 сыплются из поднебесья,  
 где их хранил звездочёт.  
 Падают яркие вспыхи,  
 август их ловит в подол,  
 вот уж из звёздной пороши  
 мельник муки намолот.  
 А на рассвете туманном  
 тесто из этой муки  
 в доме хозяйка замесит  
 плавным движеньем руки.  
 И восходящее солнце,  
 правя движеньем судеб,  
 в руку краюху положит -  
 небом подаренный хлеб.

Юрий Берг.

Сайт «Свете Тихий».



## Лебеди

Две белые птицы в полуденный час  
 Летели над синей водой.  
 В неведомый край уносились от нас  
 Мгновенья красоты неземной.

Простор поднебесья был чист и глубок,  
 А крылья несли лебедей  
 От наших восторгов, забот и тревог,  
 От наших безумных страстей.

Утешим любовью печали земли,  
 Ведь нет той сторонки милей,  
 Где с детства мы видим в небесной дали  
 Согласный полёт лебедей.

Сайт «Свете Тихий»

Александр Лазутин.



# ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ РАБОТА



...На этот раз в палату интенсивной терапии поступил заметно необычный больной. Возраст совершенно не подходил для инфаркта миокарда ни по какой статистике: всего-то тридцать четыре от рождения. Сублильный, молодой ещё на вид человек. Тонкие с хитрецей черты лица, беспокойные глубоко посаженные глаза, нервно подрагивавшие в разговоре ноздри вытянутого хрящеватого носа. Узкие бескровные губы, готовые в любой момент зашепелявить улыбочкой, непонятно что означающей. Пальцы рук длинные, подвижные, будто у пианиста в представлении многих, не оставляли сомнений в музыкальности натуры хозяина. Ни следа никотина на ногтях, как и мозолей на ладонях, явно не знакомых ни с лопатой, ни с киркой. Сразу становилось ясно: натура тонкой организации, по всем признакам артистическая.

К тому же, кардиобригада скорой помощи захватила его из гостиницы. При кратком обязательном опросе он пояснил, что приехал «на гастроли», чем утвердил всех в предварительном предположении, но в строке «Место работы» на обложке истории болезни остался сомнительный прочерк. Иногородняя прописка в паспорте могла создать позже - при переводе в обычное отделение и для санаторной реабилитации - некоторые трудности, но советским гражданином он безусловно являлся. А потому получил всю положенную помощь и лечение; в те времена о будущей страховой медицине в стране не могли предположить даже самые прозорливые писатели-фантасты.

Никто его не искал и не посещал. При одном из повторившихся болевых приступов, кроме необходимых обезболивающих, больному ввели тиопентал натрия, чтобы «вырубить кору», то есть дать возможность поспать, - пока с помощью капельно-вводимых лекарств восстанавливают кровоток в поражённой сердечной мышце. То ли из-за не соответствующего такой болезни возраста и запаса прочности организма, то ли от недоказанного употребления алкоголя в больших количествах, но больно́й не засыпал, а впал в ненормальную разговорчивость при лёгкой заторможенности.

Боли у него всё же полностью снялись, и непривычно молодой сердечник принялся откровенничать о таинственных подробностях собственной жизни. В палате интенсивной терапии он оставался к этому времени один, остальные койки пустовали, затишье объяснялось не сезоном для инфаркта миокарда и не экстренным днём. Состояние пациента уже не внушало прежних опасений, потому скучающий персонал, переделавший плановую работу и которому нечем было пока заняться, составили ему компанию. Невольными слушателями исповеди оказались врач и две медсестры с санитаркой.

Надо заметить, что раствор тиопентала натрия и представлял собой ту самую, широко известную потом по фильмам и шпионским романам пресловутую «сыворотку правды», которую вводили при допросах, чтобы выведать всё без утайки. Так что в искренности больно́го с объяснимо остекленевшим взглядом сомнений не возникало. Только время от времени врачу приходилось задавать наводящие вопросы, чтобы тот не увильнул в сторону от интересной всем темы. При этом формулировки должны были быть лаконичны и конкретны, не вызывать затруднений с ответом.

Разумеется, все в первую очередь любопытствовали, чем же он на самом деле занимается? Его профессиональная, так сказать, стезя, из-за которой он посетил их город и одновременно заработал ранний инфаркт миокарда. Потому врач без обиняков спросил, правда ли, что он музыкант? И какими инструментами в таком случае владеет? Больно́й, не задумываясь, немедленно заверил, что лабухом никак не является, а играет исключительно в карты или на нервах.

Врач, не обескураженный неожиданным ответом, продолжал допытываться:

- И кто ты тогда сам по профессии? Фокусник, что ли?

Повторять ему не пришлось, распластанный на койке тут же не менее внятно сообщил:

- Я - вор!

То, как это было произнесено, странным образом невольно напомнило присутствующим школьный курс родной литературы и знаменитую фразу горьковской пьесы «На дне» - «Человек - это звучит гордо!» На секунду поражённый врач оказался сбит с намеченного; ему пришлось импровизировать уже не без юмора:

- А какой же именно специальности? Карманник? Медвежатник? - при этом он покосился на удлинённые музыкальные пальцы больно́го.

- Нет, я - домушник.

Несмотря на загруженность медикаментами, в ответе явственно послышалось некоторое возмущение.

- Объясни подробнее.  
- Занимаюсь только квартирами.  
- Форточник, что ли? - спрашивающий вспомнил пару прочитанных милицейских детективов.

Опять ответчик гордо возразил не без обиды:

- Я - домушник. Форточники - мелкота.  
- Что это значит? - влезла в опрос немедленно захотевшая уточнений нетерпеливая медсестра.

- Всегда захожу через дверь, - то ли терпеливо, то ли равнодушно пояснил лежавший перед ними на функциональной кровати, прицепленный проводами к монитору у изголовья.

- Если ты не артист, то на какие же гастроли приехал сюда?

- Ну да, на такие: вынести, сколько выйдет, квартир... и по-быстрому сделать ноги.

- Если у тебя есть сообщники, почему они тебя до сих пор не навелили в больницу?

- Я всегда работаю только один.

- Почему?

- Другим доверять никак нельзя. Забухают и проколются. Сам себе иной раз не веришь, но всё надёжнее...

- А кто же тебя наводит в незнакомом городе? Как выбираешь то, что надо?

Самодовольная улыбка едва зазмеилась по тонким губам.

- Специфика работы! Есть определённые способы...

- Например?

Их разговор всё больше напоминал самому врачу, в студенчестве посещавшему вечерний университет рабочих корреспондентов, интервью для газеты. Вот бы здорово всем опрашиваемым газетчиками вкатывать предварительно тиопентал, тогда точно никто не смог бы соврать! Только, кто бы такое потом напечатал?

- Да это просто. Можно использовать городской телефонный справочник. У бедных в квартире телефон может стоять, а может, и нет. Но богатые точно всегда его имеют! Надо смотреть - где телефонов больше, в каком районе, в каких домах... А там уж прогуляться, посмотреть состояние фасадов, подъездов, имеются ли машины. И прочее. Потом выбираешь цели. А можно сразу выйти на директора завода, ресторана, любой важной конторы: узнать сначала в лицо, и пасти уже определённый объект... но для этого нужно время.

Не очень убедительно, но слушатели проглотили расплывчатое объяснение.

- А как узнаёшь, дома ли хозяева? Ведь можно нарваться?

- Ещё того проще. На севере надо работать в сезон отпусков, народ на юга подаётся; вот на юге - без разницы. Для того имеются всякие заготовки. Например, распечатать на машинке объявление типа «Такого-то числа в Вашем подъезде проводится поморка тараканов (мышей). Просьба отсутствующих в указанные часы выставить у двери баночку под бесплатное средство дезинфекции (дератизации) для самостоятельного использования». Чем больше научных слов - тем безотказнее! Всегда на подъезд найдётся не меньше 2-3 придурков, которые клонут. Баночка у двери - это уже приглашение зайти в пустую квартиру! Некоторые бивни ещё и ключи от двери под ковриком оставляют!

Больной явно развеселился.

- Бивни - это кто?

- Да слабоумные граждане, кто же ещё!

- И сложно вскрыть дверь?

- Фью... Имея талант, да с инструментом... Обычно - раз плюнуть!

- Инструментом?

- Отмычки, набор ключей, ножницы с надпилами, кому что нравится... Главное на соседей не нарваться, на пультовую сигнализацию или собаку. С соседями надо наглее и увереннее держаться. Вот если сигнализация сработала - времени совсем в обрез С собакой-то проще.

- Хорошо, а как ты находишь, где именно деньги и ценности?

- Это не сложно. Как подломишь десяток-другой квартир, нычки уже сразу находишь. Женская психология примитивна и на 90% легко предсказуема. Есть два-три места, куда они обычно прячут... даже мужья, если имеются, о них без понятия.

- И куда же? Хоть одно назови!

- Чаще в шкафу под постельным бельём.

Уже дома врач поспешил проверить сказанное и с изумлением обнаружил под стопкой чистых простынок и полотенца с полтора десятка червонцев!

- Но, как верёвочке не виться... тебя обязательно поймают. Наверняка судимости были?  
- Ха! Четыре командировки, - опять с гордостью похвалился больной.  
- И с какого же возраста этим занимаешься?  
- Первая ходка - по малолетке...  
- И всегда был узким специалистом... домушником?  
- Нет, конечно. Начинал щипачём-карманником, не подошло. Потом и форточником пришлось... Но это было давно.

От привычных зековских татуировок, аттестующих его занятие и пребывание на зоне, он каким-то образом сумел уберечься. Только пояснил любопытствовавшему о том врачу, что - не дурак же он последний, чтобы делать себе афишу на лбу, оповещающая каждого, кто он есть на самом деле и чем промышляет! Зачем отпугивать тех, кто пригодится для верного заработка на хлеб с маслом?

Вскоре больной внезапно захрапел, погрузившись в медикаментозный сон, чем поначалу напугал персонал, впрочем, быстро успокоившийся при виде нормальных показаний монитора. Просто его организм не смог дальше сопротивляться снотворному действию уже введённых препаратов.

Двумя неделями позже, когда больному за несколько дней до выписки разрешили выходить во двор, он подошёл к курившему в сторонке тому же врачу и смущённо попросил сигарету. С сомнением, правильно ли поступает, тот угостил, рассудив, что резко бросать - даже курить - всегда вредно для здоровья.

- Доктор, кажется, я лишнее тогда наговорил? - как бы равнодушно поинтересовался пациент.

- Всё останется между нами.

- И «мусорам» не сообщите? Хотя я в вашем городе и поработать нормально не успел...

- Не сообщу, не сомневайся.

Врач смотрел на молодого, только отошедшего от серьёзного инфаркта домушника, ставшего инвалидом в свои тридцать четыре, никому не нужного и ничего за душой не имевшего. Доживающего свою наверняка наперёд не долгую, никчёмную жизнь, после которой и дырки от бублика не останется. Память услужливо подсунула присказку Евгения Леонова из «Джентльменов удачи»: «Украл, выпил - в тюрьму, украл, выпил - в тюрьму! Романтика!». Теперь в эту замкнутую схему для нового знакомого вклинилась ещё обязательная больница.

- Родители есть?

- Я же детдомовский.

- И куда теперь?

Домушник глубоко затынулся, пожимая плечами.

- А ты не хотел бы изменить свою жизнь? Завязать с прошлым, освоить какую-то профессию, зажить нормально? Время же было подумать...

- Ну, нет! Горбатиться, как все?! Да ты только посмотри, доктор! - он поднял руку без сигареты и пошевелил гибкими, «музыкальными» пальчиками: - Я же ничего больше не умею; другое мне по барабану, не в кайф!

- Ты же понимаешь, инфаркт просто так ниоткуда не берётся? На этом не закончится. В следующий раз может и не обойтись...

- Да просекаю я, всё просекаю прекрасно! Но всегда торчу от этого! Поздно пить боржом. К тому же, не только на житуху с хорошим хавчиком всегда имею. Короче - это мой фарт!

В свободной строке «место работы» на корочке истории болезни появилось теперь «временно не работающий». Но советская медицина, гуманная к своим гражданам, в его конкретном случае как-то решила вопрос о долечивании. Только позже выяснилось, что по дороге в загородный санаторий, их пациент упросил остановить у продмага машину скорой помощи с двумя такими же перевозимыми на реабилитацию, чтобы «запасть шамовкой».

С тех пор его никто больше не видел.

**Сергей КРИВОРОТОВ.** Россия.



*Лучший врач тот, кто знает  
беспольность большинства  
лекарств.* (Бенджамин Франклин)

*Весело жить не запретишь,  
но можно сделать, что  
смеяться не захочется.*

# Сердце матери

Заехав к матери, чтобы достать из кладовой с антресолей банки, я наткнулся в дальнем углу на тяжелую коробку, завернутую в холстину. Взяв банки, прихватил и этот сверток - посмотреть, что в нем находится. Отдал его матери и спросил:

- Слушай, мам, что за клад спрятала ты в кладовке? Я что-то не видел раньше...

- А-а-а, этот? Он остался от бабы Дуси. Я, уж старая, и забыла про него. Много лет он лежит у нас. Я подальше его с глаз убрала, чтобы вы ненароком не сунулись в коробку, - сказала мать.

- Какая баба Дуся?

- Ты должен ее помнить. Маленькая такая старушка, на первом этаже в угловой квартире жила. Помнишь? Ты еще пацаненком был, когда ее муж умер. Они на фронте поженились, вместе всю войну прошли. Вернулись - сын родился, а вскоре дяди Федя не стало. Фронтовые раны дали знать о себе. Сердце не выдержало: рядом осколок сидел, врачи опасались его удалить; он сдвинулся, и дядя Федя помер. Сильно горевала баба Дуся, как мы привыкли ее называть. Но назад мужа не вернешь, а сына надо было ставить на ноги. Женька-то был постарше тебя. Вот и пришлось ей не только трудиться на производстве, но и после работы ходила по подъездам, мыла полы. Подрабатывала, чтобы сыну отправить все деньги. Он в институте где-то учился...

- Все, вспомнил, - я перебил мать. - Это же она таскала постоянно ведра с водой по подъездам? У нее была еще привычка угощать малышню со двора конфетами. Точно?

- Да. Ребятишки ее любили. Как увидят, что она вышла из подъезда, так сразу к ней бежали. Знали, что у бабы Дуси всегда есть карамельки в кармане. Тихая была, спокойная, - сказала мать.

- А сын, Женька, здоровый такой парень. Он же в другом городе учился, так? - спросил я у матери.

- Да, уехал... Как укатил в институт, больше ни разу не появился. А она горбатилась, чтобы там его содержать. После ее смерти, я сколько раз писала ему, что мать оставила для него этот сверток на память, а он так ни разу не отозвался, - с горечью в голосе проговорила она. - Ты же с Пашкой тогда помогал нашим мужикам со двора гроб на машину поднимать... Не забыл?

Я помнил бабу Дусю и ее похороны.

Тихая, незаметная старушка, с лицом иссеченным морщинами. Постоянно в одной и той же юбочке, латаной кофточке и линялой косынке, а зимой - в старой, побитой молью, шали.

Она неустанно, с утра и до вечера, мыла подъезды наших домов. Мороз или снег, дождь или жара, а баба Дуся тащила в очередной подъезд тяжелые ведра с водой. Убирала мусор и отмывала бетонные полы от грязи. И сколько я вспоминал бабу Дусю, она оставалась в моей памяти маленькой, сухонькой старушкой, словно время не касалось ее...

Умерла она в конце марта. Умерла так же тихо и незаметно, как и жила.

Мать, возвращаясь из магазина, зашла к ней, чтобы оставить молоко и хлеб, и увидела, что она лежит на диване, будто решила отдохнуть немного от этих проклятых тяжелых ведер. Мать тихо прошла на кухню. Оставила на столе покупки - и хотела выйти, чтобы не потревожить бабу Дусю. И вдруг что-то почувствовала... подошла к дивану. Свернувшись калачиком, баба Дуся не дышала, а рядом с ней лежал старый, потертый альбом с фотографиями, тетрадный лист, в пальцах была зажата ручка...

Бабу Дусю хоронили всем двором. Хоронили на собранные соседями деньги. До последней минуты ждали ее сына. Хоть он и прислал телеграмму, что приехать не может, и просил соседей, чтобы похороны матери прошли без его участия.

Хоронили в промозглый, холодный мартовский день. Сильный ветер гнал по небу низкие серые тучи, из которых сыпал то сырой снег, то мелкий, похожий на водяную пыль, дождь. Под ногами чавкало серое, грязное месиво из снега и воды. Дома стояли сырые и мрачные, по окнам которых, словно слезы, стекал тонкими струйками снег вперемешку с дождем. Казалось, что проливали слезы даже природа, прощаясь с ней...

Женщины в черных платках, мужики с хмурыми лицами заходили в квартиру проститься с бабой Дусей. Выходя, вытирали украдкой покрасневшие глаза. За много лет я первый раз увидел ее в новой, чистой одежде, купленной соседками.

Читали молитвы старушки в темных одеждах. Пахло ладаном, какими-то травами и еще чем-то неуловимым и непонятным тогда для меня. Запахом тлена.

Меня поразило ее лицо. Морщинистое, уставшее от постоянной работы, оно было чистым. Куда-то пропали, разгладились все морщины. Ушло с лица выражение постоянной заботы, и казалось, что она отошла от всех этих мирских дел, хлопот, и находится где-то там - далеко от всех нас...

На подъехавшую с открытым кузовом машину осторожно поставили небольшой гроб с легоньким телом бабы Дуси. Дождь, попадая на ее желтовато-восковое личико, стекал по краю глаз тонкими полосками, будто баба Дуся плакала, прощаясь со всеми, уходя в свой последний путь.

Машина медленно поехала по двору и все соседи тихим шагом пошли за ней, неся в руках венки из искусственных цветов. И лишь на грязном снегу остались лежать живые ярко-красные гвоздики.

- Мам, а можно посмотреть, что в свертке? - попросил у нее.

- Гляди...

Я осторожно развернул холстину и снял крышку со старой коробки: потертый альбом с пожелтевшими фотографиями, и еще один сверточек. Открыл его, и застыл. Передо мной лежали потускневшие от времени два ордена Славы, орден Красной Звезды, несколько разных медалей, среди которых - «За Отвагу» и «За взятие Берлина». А рядом с ними - старенький открытый конверт и неровно оторванный тетрадный листочек, на котором было написано корявым почерком:

«Женечка, сыночек! Я очень прошу тебя, выбери время, приезжай в родной дом.

Чувствую, что недолго я проживу. Тебя поскорей бы дожидаться, взглянуть - каким ты стал, да обнять в последний раз. Жаль, но оставить на память нечего, лишь альбом, где мы с отцом и ты, маленький, да наши награды... Больше у меня ничего нет, кроме медалей и орденов, что с папкой твоим на войне получили, да наших снимков. Приезжай. Так хочется увидеть тебя в последни...»

Письмо оборвалось, оставшись недописанным.



*Когда все крысы убежали,  
корабль перестал тонуть.*

**Михаил Смирнов.**  
Россия, Башкортостан.

## ... ТРЕТИЙ ПОЕЗД



«Пошарь, хозяйка, под заплатою,  
да не жалея своих рублей, -  
гадалка в мае сорок пятого  
гадала бабушке моей, -  
Ты заплети косу до пояса,  
и платье новое надень.  
Твой муж вернется третьим поездом.  
А третий поезд - через день».

Под неказистой старой сливою,  
что очень кстати расцвела,  
стояли бабушка счастливая  
и дети - меньше мал мала.  
Они стояли, взявшись за руки,  
они таращили глаза.  
А слива расточала запахи,  
и с неба падала слеза...

Вот здесь в семейной нашей повести  
я резко открываю дверь:  
«Он не вернется третьим поездом!  
Не верь ей, бабушка, не верь!  
Нет у гадалки этой совести».  
И я кричу через года:  
«Он не вернется третьим поездом!  
Он не вернется никогда!»

«Ну что ты расшумелся, лапушка?  
Конечно, не вернется он.  
Но той гадалке ваша бабушка  
шлет самый искренний поклон.  
Что смотришь, как на сумасшедшую?  
Поклон ей низкий от меня»... -  
И с расстановкою, неспешно так:  
«Мы были счастливы три дня».

Сайт «Свете Тихий»

**Дмитрий Казарин.**



*В наши дни людей не пытаются калёным железом. Есть благородные металлы.*

# Шарлотка



*Если тебе плохо - улыбнись,  
завтра будет ещё хуже...*

(Юморист. рассказ)

Вспоминал во время заупокойной службы тех, кто уже не с нами. Невольно обратил внимание: как же изменился приход за четверть века... В храме много молодежи, есть уже и воскресная школа для совсем маленьких христиан. Радует и количество мужчин. Как-то даже на одной из служб заметил что-то необычное, но не мог понять: что именно? Пономарь подсказал: в храме на службе больше мужчин, чем женщин. Однако по-прежнему преобладают люди пенсионного возраста.

Принято жаловаться на молодёжь. А я вот хочу поскорбеть о том, что... - не те пошли пенсионеры, не те! Но оно и понятно: ведь на каждом из нас остается отпечаток той идеологии, в которой мы росли и воспитывались. Особенно в школьный период жизни. Мне кажется, в них не хватает некой мягкости, задушевности, что ли. Зато решительности, четкости и целеустремленности - хоть отбавляй! Конечно, это лишь мой личный взгляд. Уж никак не критика и не попытка выяснить: кто лучше и кто хуже? Просто поколение это другое.

Поделюсь моими наблюдениями. Вот есть один яркий пример христианского послушания. Пожаловалась как-то одна женщина - на себя - перед причастием, что испытывает злорадство по поводу поломки у соседа распыривателя от колорадского жука («не то беда, что у меня корова умерла, а то, что у соседа отелилась»). На мой резонный ответ, дескать, надо поделиться своим, обнаружилось, что вражда с соседом давняя, и уже перешла в фазу молчаливой блокады. Простым языком говоря, не общаются они уже давно. Точную причину, за давностью начала сражения, установить не удалось. Помнит только, что связано как-то с межей (это линия разграничения земельных угодий).

Объясняю о невозможности в таком состоянии приступить к причастию. Да и вообще: как же она «Отче наш» читает? Ведь одно из условий прощения грехов перед Богом - это прощение своего ближнего («И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим...»).

- Что же делать? Я говела, готовилась, приехала - и на тебе!

- Давайте заключим сделку: я вас допущу к причастию, а вы пообещаете выполнить мой наказ...

После недолгих колебаний - «Ну что батюшка такого может заставить сделать? Он же служитель Божий. Ну акафист почитать какой-нибудь...» - она согласилась.

А зря: иногда я бываю очень изобретательным.

- Как приедете домой, - говорю ей, - испеките шарлотку и угостите соседа!

- Да вы что!? Это невозможно!

- Ну почему же? Шарлотку даже я могу испечь... Хотите, дам рецепт? Уговор дороже денег! Вы пообещали!

Через неделю подходит она с сияющим лицом и сообщает, что задание выполнено!

- Неужто помирились?

- Ага! Как же! Он мне эту шарлотку на голову надел! Да ещё и прибавил: «Отравить меня решила, карга старая..?!»

А дальше - русские лингвистические конструкции, которые ни в храме, ни в печатном издании не говорят и не пишут...

- Отчего же радуетесь?

- Так это, права я оказалась! Не дало это ничегошеньки.

- Но как же? - отвечаю, - разве вы ему не ответили?

- Почему же, ответила!

- Вот видите, вы разговаривать уже начали. А до этого и не здоровались. И что же вы ему сказали?

- Батюшка, мне стыдно в храме это повторять...

- Ага, - говорю, - опять нагрешили? Значит так: даю задание посложнее. Теперь испеките торт «Безе». Я уж и рецепт приготовил.

Честно говоря, я грешным делом подумал, что больше её не увижу у себя в храме. Однако, слава Богу, ошибся. Приехала. Подходит с озабоченным лицом и говорит:

- Как вы догадались, что он не наденет торт мне на голову? Я уж приготовилась: голову специально не мыла, воды нагрела. А он так посмотрел задумчиво на меня, попросил, что бы я сначала сама попробовала. И ничего - стал сам есть, и нахваливать!

Одним словом, наладились у них отношения.

К чему это я? Перед постом есть обычай просить прощения. Ничего нового я не придумал. Только усложнил задачу: поменял блины на тортики. Ведь не зря же перед постом ходят к теще на блины? А «первый блин всегда комом»...

*Сайт «Свете Тихий»*

**Игумен Герман (Скрипник)**

*И рай не тот, и змеи  
мелковаты...*



*В лягушках вы, царица, были краше!*



## Русалкин телефон



Получил Аркадий Петрович на юбилей подарок - морскую раковину. Неопознанный даритель подарок вручил и сразу в лицах растворился; может исчез из квартиры без угощения, может за столом затерялся. Аркадий Петрович покрутил раковину в руках, заглянул в гнутые недра и на ухо примерил. Размер - точь-в-точь его, как по меркам. Ухо входит свободно, выходит без задержек. Сел Аркадий Петрович за юбилейный стол, выкатил грудь для всеобщего восхваления, а самого словно и нет: ничего не ест, никого не замечает, и все тосты мимо ушей пропускает. Заняты его уши, то одно окунет в шум прибора, то другое. Удивились гости, друг другу пожаловались, но раковину у Аркадия Петровича отбирать не стали. Юбиляру позволено все. На то он и юбилей, что недолго осталось.

К ночи гости разошлись с соленым осадком. И хозяйка со специями перестаралась, и юбилей разочаровал. Еду всю не съели, водку всю не выпили, на серебряные ножи не позарились. Разметались по собственным спальням, положили в изголовья телефоны. Вдруг помощь потребуется - скорую юбиляру вызвать, или в психбольницу отвезти.

Жена Зинаида со стола убирать не стала. Покружила вокруг мужа, привлекая внимание, попрыгала, пошипела злобно. Реакции ноль. Тогда, плюнула на равнодушную рожу, подсунула тарелку с нетронутой отбивной под нос Аркадию Петровичу и в сердцах бросила:

- Ну, погоди! Завтра юбилей кончится, останутся тебе считанные дни. А пока тут сиди. Когда голову из морской «...» вытащишь, тогда и спать придешь. С ней даже не суйся...

Ушла в одиночестве, без привычных пожеланий: никакой тебе спокойной ночи, никаких тебе сладких снов.

Как только утро испортилось криком будильника, так Зинаида уже в боевой готовности. Посмотрела на половину кровати, не обнаружила привычного силуэта - расстроилась. Тут вспомнила, что юбилею конец - обрадовалась. Руки в предвкушении потеряла, но тяжелые предметы не взяла. Кто его знает, чем разговор обернется. Прокашлялась, горло прочистила, вдохнула глубоко для силы звучания голоса и ринулась в комнату. Пробежала метром коридора, ворвалась тайфуном, окинула взглядом юбилейный беспорядок, не нашла мужа. Испарился Аркадий Петрович в неизвестном направлении, не оставил следов. Протерла Зинаида недоверчиво глаза, муж не появился. Протерла еще раз, опять мимо. Трет до гематом и все впустую - не соткался потерянный супруг в привычном кресле, не материализовался из ее сильного желания расправы. Зато заняло его место одиночество. Расположилось по хозяйски, подмигнуло пошло, протянуло к Зинаиде неласковые руки.

- Заглотнула! Как пить дать, заглотнула! - упала духом жена. Вот она разлучница, профура гнутая, на отбивной лежит надгробным постаментом. - Ты моим мужем подавишься!

Схватила Зинаида раковину и к уху прижала. Ничего не слышно. У мужа уши меньше, чувствительность к звукам больше, а жену бриллианты не пускают. Сдернула Зинаида с ушей завидные серьги, швырнула на стол, потеряла в остатках салата. Даже не заметила. Ухо в раковину погрузила, будто в море вошла...

Внутри шумели волны пенными перекатами. Вдали резвились дельфины - пожирали рыбу. Чуть ближе дружный хор охрипших чаек и тонким лезвием - голос. Женский. Зовет к себе: - «Приплыви ко мне Аркадий Петрович. Буду тебя щекотать и на кальмаре катать...»



- Какая сволочь, - рыкнула Зинаида, - подарила мужу русалкин телефон! Пропал Аркаша. Увели русалки портовые, затянули на самое дно. Что же мне теперь делать?

И действительно, растерялась Зинаида, не знает куда бежать, то ли на распродажу багров, то ли к браконьерам-подводникам. Где теперь мужа-утопленника искать, в каких водах вылавливать...

Вернулась к Зинаиде боевая юность на борцовских коврах желанием заламывать и выкручивать. Вознесла она раковину повыше, размахнулась, выгнулась истерично, и об пол, что есть силы, ударила. Раковина вдребезги, а у соседей снизу узор трещин на потолке - изрезал свежую штукатурку смутно знакомым ликом. Соседи в крик. Зинаиде некогда - остатки раковины ногами добивает. На пятках мозоли чугунные, как копыта. Забила ими с ревливой ненавистью, новые черты лику на соседском потолке добавила. Бьет, как портрет рисует - еще немного, и свершится чудо. Вот, один из ударов облагородил левый глаз зрачком, вот другой проявил нос с горбинкой. Появились бакенбарды, родинка на щеке, даже шрам над бровью. Наконец последний удар посеял усы, да бороду. Соседи на лик глянули - и сразу узнали. В благоговении притихли, не шелохнутся. Начали было креститься, но вовремя поняли, что не к месту. Так и остались стоять, взгляды к потолку прикованы, оторваться невозможно. Да и как тут оторвешься, когда в районе дешевой люстры, сложилось, случайными трещинами, лицо начальника ЖЭКа. Суровые глаза выкатил, бороду топорщит, на компромиссы не идет.

Заскучала Зинаида над ракушными потрохами, разбивать больше нечего. На всякий случай прислушалась - тишина кругом, нет больше морского приboя с русалками и похотливыми головами. Зинаида осколочную мелочь легонько пнула и вдруг осознала острую необходимость слов. Требовалось что-нибудь сказать. Темпераментное. Яркое. На века.

- Не отпускаю, - произнесла Зинаида без особого энтузиазма. Сама от своей пресности поморщилась, но облегчение испытала. Расположилась на диване в сигаретном молчании, погладила натруженные мозоли. Затем подняла глаза к входу-выходу, увидела Аркадия Петровича. Он стоял задумчиво и смотрел на разбитую связь. В одной руке держал акваланг, в другой ласты...

Множество морских раковин перемерил с тех пор Аркадий Петрович, но тот единственный голос так и не обнаружил. Везде было необитаемое море и метеорологические помехи. Не снился желанный зов ночью, не грезился днем. Только порой, лежа в ванной с аквалангом и ластами, в звуках убегающей по трубам воды, угадывал Аркадий Петрович знакомые слова. С канализационным искажением они шептали что-то про щекотку и кальмаров.

**P.S.** Соседи снизу остались довольны. С Зинаидой кланяются, с требованием ремонта не пристают. Изменилась теперь их жизнь разрушительным прозрением. Распахнули двери для всех желающих, вывесили на входе прейскурант. Впускают посетителей к чудесному лику управдома за отдельную плату. Можно в частном порядке, можно группами. Жалобы по одной цене, просьбы по другой. Ну а кто с требованием и ультиматумом, тот на особом счету. Их заворачивают на пороге, дальше пройти не дают. И правильно делают. Нечего своим неверием веру других подрывать.

Сайт Проза.ру Свидетельство о публикации №211092100934

© Copyright: Саша Кметт, 2011

*Как идиот, Вы были безупречны.*



**Удит рыбу рыбачок,**  
Устали не знает,  
Только рыба на крючок  
Всё не попадает.  
Проплывает крокодил:  
- Как дела, приятель,  
Рыбы много наловил?  
- Нет, зря время тратил.  
- Ну, так ты не огорчайся,  
А пойди да искупайся!



13.08.2013 **В.К. Невярович.**  
Москва.



*Возраст женщины, которая  
всех критикует,  
называется критическим возрастом.*  
Д. Аминадо.



- **Ты меня** не любишь! -  
молвила жена.  
Муж в ответ присвистнул:  
- Вот тебе и на!!! -  
Если твой характер  
столько лет терплю...  
Можешь быть спокойна -  
дьявольски люблю!!!

**Эдуард Асадов.**



# БАЛЛАДА О ВОРОНОМ

*Из шахты вывели кобылу,  
Ослепшую, немолодую.  
Как снег идет, как ветры дуют,  
Как солнце светит, – все забыла,*

*И машинист электровоза  
Уводит бережно гнедую...  
Глядим мы вслед подземной кляче,  
А лошадь плачет. Ржет и плачет.*

**Н. Анциферов.**

**1** Вороного опускали в шахту.

Что это такое, шахта, Вороной еще не знал, потому что с малых лет прожил на шахтном конном дворе, возил на телеге всяческие грузы, но никогда близко не приближался к стволу - к глубокой и черной яме, которая уходила на жуткую глубину, как раз и называемую тем жестким немецким словом - шахта. А теперь, выходит, подошел и его черед, вслед за Гнедым и Сивым отправляться под землю, возить к стволу уголь, который в поте лица - и не только лица, но всего тела! - добывают шахтеры.

Кроме Гнедого и Сивого, в шахте работало еще несколько лошадей, давно опущенных туда этим же стволом, но Вороной их плохо помнит. А Гнедой и Сивый были его ровесниками, с ними он рос и дружил, с ними перевозил по шахтному двору деревянные стойки, распилы, другой крепежный материал. С Гнедым и Сивым они заигрывали перед красавицей Зорькой, у которой на лбу белело кокетливое светлое пятно, на которое все обращали внимание. И каждому из них казалось, что Зорька особенно приветлива именно к нему. Поэтому чисто по-мальчишески выпендривались, ни с того ни с сего ржали, норовили ласково укусить ее за ухо.

Зорьке шахта не угрожала. На шахте хорошо знали, что у них под землей работают только мужские особи, кобыл туда не берут. Хотя назвать Зорьку кобылой - это тоже был бы верх неприличия. Это с такой-то точеной шеей, с такими-то красивыми карими глазами и такими стройными ногами - и кобыла?!

А настоящая кобыла, считали шахтеры, под землей все равно что женщина на корабле. Обязательно жди беды. Им не трудно было представить, что может быть, если лошади разных полов окажутся под землей, в одной конюшне. Мало ли там и без того страшных драк! Причем, наказанные ни за что ни про что подземной каторгой, кони после долгого пребывания в вечной темноте, пыли и сырости, часто меняют характер, становясь друг к другу нетерпимыми и если затевают драки, то стараются схватить обидчика зубами за... Ну, за то самое мужское место, которое все-таки надобно как можно старательнее беречь.

Вороного опускали в шахту. Сначала его завели в металлическую коробку клетки, в которой опускают и поднимают после смены на поверхность шахтеров. Причем завели, или - затолкали, запихали, вынудив низко склонить голову, словно сразу же давая понять, что с этой минуты он не на земле и обязан подчиняться каждому слову, каждому свисту и даже каждому жесту представленного к нему человека, которого, он потом узнает, под землей именуют коногоном. Завели, закрыли створки двери, которые открываются внутрь клетки, чтобы кто-нибудь, задремав от усталости, случайно не выпал. И подали команду опускать.

И вот тогда-то Вороной, наконец, узнал, наконец, почувствовал, что оно такое, этот спуск в шахту! После прозвучавшего сигнала, клеть слегка встрепенулась, словно внезапно разбуженная ото сна, зашаталась на металлическом канате и, мягко набирая скорость, пошла вниз. Покуда лишь пошла, но через секунд десять-пятнадцать уже полетела. Полетела в кромешной тьме, так как все люди, отправлявшие ее вниз, остались там, наверху, и некому было хотя бы слегка осветить эту летящую коробку.

Вороной онемел, закрыл глаза, но когда они непроизвольно открывались, ничего не видел. Точнее, видел только беспросветную темень, такую непроницаемую и густую, которой никогда не бывает на земле.

А скорость все нарастала: раздражающий звук, сопровождавший каждое соприкосновение деревянных «проводников» с боковинами клетки, слышался все чаще и чаще и мог бы вызвать у свежего человека настоящий озноб. Но Вороной не был человеком, и он иным, совершенно не понятным чувством определял, что происходящее сейчас становится все более опасным. В какой-то миг он подумал, что это и есть конец, - конец его, до обидного короткой жизни, картины которой молниеносно проносились у него в голове...

2 Как уже было сказано, он появился на свет не в обыкновенной конюшне, без которых не обходилось ни одно село, ни одно коллективное хозяйство, известное каждому под сокращенным названием - колхоз. Он появился на свет на шахтном конном дворе, с тем, чтобы не пахать, не боронить, не возить пшеницу или бидоны с молоком, а со временем опуститься под землю, перевозить там и материалы, и уголь, и даже пустую серую породу, которую, в отличие от европейцев, в Донбассе так и не научились оставлять под землей, закладывая освободившееся после добытого угля пространство. Поэтому с первых своих дней Вороной видел не только стены своей конюшни, но и высокую гору породы, вывезенной на поверхность, которая после дождя начинала дымить, наполняя воздух неприятной гарью. Но разве эта гарь могла помешать радоваться жизни?! Ведь совсем рядом с конным двором был такой заманчивый, с шелковистой травой луг, куда он каждое утро отправлялся с мамой на своих тонких, как тростник, ножках. Гнедой, Сивый, Зорька... Они тоже были здесь со своими мамами, тоже весело бегали по лугу, забавно мотая из стороны в сторону головой, будто отгоняя надоедливую мошкарку. Затем каждый из них подбегал к своей, самой доброй и самой родной на свете, толкался мордашкой в ее живот...

Вороной ничем не отличался от других жеребят - такой же задорный, непоседливый стригунок, но для молодой лошади, для мамы, как и для каждой матери, был самым красивым, самым родным и милым. Правда, со временем любовь эта материнская начала потихоньку остывать, и Вороной это чувствовал. Да ведь и сам он, подрастая, все дальше отходил от той, которая привела его в этот мир, и все чаще стал думать о Зорьке.

Вороному не довелось и дня походить под седлом. У каждой лошади, как и у каждого человека, - своя судьба. Если бы Вороной родился во времена своих дедов-прадедов, ему, наверное, тоже досталась бы лихая доля участвовать в кавалерийских битвах, когда лошади пробегали в день до ста километров и буквально падали от изнеможения, чтобы, вытянув тонкие шеи, безмолвно умереть. Ему не приходилось, по воле всадника, врываться в табун таких же лошадей, но уже под другим флагом, и, прижимая тонкие уши, слышать над головой зловещий звон и скрежет обнаженных клинков, а еще дикие, не похожие на человеческие крики ненависти и боли. Ему не приходилось выносить с поля боя раненого, а тем более убитого всадника, который бы заливал своею кровью его дрожащую от возбуждения и страха шею, его подстриженную гриву. Ничего этого Вороному не довелось, но в душе он готов был на любой смелый поступок, потому что все это было у Вороного в генах - и смелость, и преданность, и доверие к близкому человеку.

А кто был ему наиболее близким человеком? Их было два. Первый - это конюх Семен, который ухаживал за ним. Впрочем, как и за другими лошадьми. Второй - хромой ездовой, из выведенных на поверхность покалеченных шахтеров. Вороной поначалу стеснялся, что ему достался такой неказистый хозяин. У Гнедого, у Сивого, даже у Зорьки ездовые также были из бывших горняков. Но у них, также проработавших долгое время под землей, остались целы руки-ноги, а если когда-то и были перебиты, то сейчас внешне это не было заметно. Хозяин же Вороного, Федор, заметно прихрамывал, даже слегка волочил одну, левую, ногу, попав в шахте под обвал. Забравшись же в телегу и привычно взяв в руки вожжи, Федор сразу преображался; ловко дергал их и Вороной, закивав головой, словно соглашаясь на поездку, и без всяких усилий трогал.

По наземной территории шахты он возил от склада к стволу различные материалы, для работников строительного цеха - материал для ремонта устаревающих помещений, песок, цемент, доски. Но более всего любил, когда ему выпадало ехать в подшефную школу, которая находилась на одной из центральных улиц городка, по мнению Вороного, такой оживленной и широкой, что только успевай рассматривать. На этой улице он пару раз встречал чудесную, почти сказочную, повозку. Даже не повозку, а маленькую, аккуратную деревянную будку с надписью на боку «Хлеб». Впереди будки, явно важничая, восседал, небрежно придерживая вожжи, седоусый возница в видавшей виды фетровой шляпе. Ну, где вы видели еще в городе шляпы? На ком? Ездовой Вороного прикрывал голову истершейся до дыр кепкой-шестиклинкой, другие люди тоже щеголяли в таких же головных уборах. А этот, хлебовоз, выделялся шляпой. Гордился, наверное, своей должностью и своей повозкой и его конь, скорее всего, принадлежащий городской пекарне. Будка распространяла удивительно вкусный запах горячего с пылу-жару, хлеба, привлекая внимание не только проходящих мимо людей, но и животных, кошек, собак, которые тут же останавливались и поднимали вверх свои влажные чуткие носы.

Так что здесь и впрямь трудно было не загордиться. Вот и шел этот конек-хлебовоз таким степенным шагом, так важничая, что впору было засмеяться. Но что ему этот смех, если он всегда такой чистенький, вымытый, хорошо накормленный, да еще при такой не пыльной, вызывающей зависть должности? И разве можно сравнить его жизнь с жизнью, например, того же старенького мерина, который, не поднимая от стыда глаз, таскал за собой огромную, за версту разящую вонюю бочку, из которой торчал большой черпак с длинной ручкой. Впереди бочки тоже восседал возница, поражая прохожих неприятным видом неаккуратно пришитого врачами носа, который напоминал среднего размера баклажан. Сидя впереди наполненной туалетной жижей посуды, он невозмутимо жевал колбасу с хлебом, как бы нарочно вызывая у прохожих брезгливые смешки.

- Говновоз! Говновоз! - кричали мальчишки и порою швыряли в него камни.

Разные, что ни говори, все-таки судьбы у лошадей.

Заезжая во двор школы, которая также периодически требовала и ремонта и даже саженцев для своего сада, которые Вороному уже доводилось сюда завозить, он всегда надеялся, что тут сразу прозвенит звонок и двор наполнится выскочившей на перемену детворой. Не будь здесь подводы, не будь спокойно стоящей лошади, они, конечно, все кинутся на спортивную площадку, чтобы устроить на бревне настоящий рыцарский поединок, стараясь столкнуть противника с метровой высоты. И сталкивали, и падали сами, стараясь все же удержаться на собственных ногах. Кто не успевал взобраться на бревно, те цеплялись за перекладину, пытаясь поджиматься на слабых еще руках, обнажая при этом из-под рубашек голые животы. Но все эти игры мигом прекращались, если во двор заезжала телега. Не такой уж и город, так, большая деревня, и лошадь здесь далеко не в диковинку, и все-таки ее сразу же окружали, пытались дотронуться ладонью, даже погладить.

- Ребята, не трогайте, укусит! - осторожничают учителя, что всегда было обидно для Вороного.

- Не уку-усит, - авторитетно и добродушно заверял ездовой, раскуривая самокрутку и поглядывая на окна директора. Ну, что вы там, присылайте грузчиков. Не самому же мне эти дрова сгружать.

На разгрузку прибегали старшекласники, которым, конечно, эта лошадь до лампочки! Разгрузят и - за туалет, покурить. Малышню же от лошади не отгонишь. Да и пусть стоят, лишь бы кто-нибудь из них не подставил случайно свою ногу под колесо или копыта.

- Дядя, а что он ест?

Ездовой успел слезть на землю, теперь стоял, для порядка придерживая вожжи и докуривая свою «козью ножку», потому что магазинных папирос не признавал.

- Да что... Любит, например, корочку хлеба с солью...

Каким вкусным запомнился тогда Вороному этот кусочек черного хлеба с солью! И тот мальчуган, что мигом принес ему это лакомство, отломив от своего завтрака. Весь обратный путь на шахту, вернее - на конный двор, Вороной думал потом про этого школьника, про этого скромного на вид белобрысенького ребенка, который, несмотря на заверения ездowego, все-таки с опаской протягивал ему открытую ладошку с угощением! Вороной уже заметил, что белобрысые люди всегда добры и застенчивы, словно, в отличие от чернявых, стесняются цвета своих волос. Рыжие же, похоже, все хулиганы, потому что вынуждены что ни день отвечать на дразнилку: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!» или другие обидные слова, и при этом тоже задираются, даже пускают в ход кулаки. А однажды вышел случай, с таким же вот рыжим, после которого Вороной от удивления потом долго и сокрушенно покачивал головой.

Ранней весной, когда снег превратился в серое холодное и неприятное на вид месиво, он заезжал с хозяином в шахтерскую столовую, чтобы забрать оттуда какие-то бачки и кастрюли. Хозяин медленно сполз с телеги, скрутил свой кнут, с которым никогда не расставался и медленно пошел по ступенькам в заманчиво пахнущее свежими щами помещение.

Вороной догадался, что они с хозяином подоспели к обеду и стал терпеливо ждать. Еще догадался, что обедающим в столовой было, как никогда, весело. Они громко разговаривали, смеялись, даже старались перекричать друг друга. Потом на крыльце показался какой-то ярко рыжий и, наверное, неугомонный, парень, поставил на скользкий цемент пару небольших и уже поношенных калош, налил в них из миски горячих щей и, от удовольствия взвизгнув, вернулся в столовую. Сидящая рядом собачонка, помахивая от нетерпения хвостом, сразу же накинулась на еду.

А в столовой уже разразился настоящий скандал, послышался женский крик, переходящий в визг. И на крыльцо снова выскочил рыжий и, весело матерясь, кинулся в сторону конторы. За

ним, с половой тряпкой в руке, показалась уборщица, готовая убить «рыжего стервеца» за такие шутки с ее калошами, которым теперь не высохнуть до следующего дня.

Вороной все видел, и ему стало стыдно за этого проказника. Он старался не смотреть в сторону едва не плачущей женщины, которая готова была сейчас выместить свою обиду на ком угодно.

- Дурак рыжий! Дурак, - уже всхлипывала она, добавляя и вовсе неприличные, особенно для женщины, слова.

Будь этот проказник черноволосым, вряд ли она обозвала его «черным дураком». А рыжий - он и есть рыжий! Недаром их всегда дразнят и всегда ожидают от них любой пакости.

Белобрысенький же мальчуган, или как сразу же окрестил его Вороной - Беленький, был тихим, не крикливым, он спокойно стоял возле телеги, с интересом рассматривая Вороного, будто перед ним какое-то экзотическое животное, непонятно каким образом попавшее в задымленный и отмеченный высокими горами-терриконами донецкий край.

**3** Все эти воспоминания пронеслись в голове Вороного, пока клеть опускалась на нужный горизонт, сначала хорошенько раскоцегарив, а затем заметно убавляя скорость. И наконец, остановилась, поначалу зависнув в метре от земли, которую в шахте принято именовать почвой, а затем уже мягко легла на грунт.

Вороной по-прежнему стоял понурившись, затем все-таки поднял голову, увидел сносно освещенную околоствольную выработку, услышал мужские голоса. Потом услышал, как кто-то подошел, щелкнул специальным рычажком, коим клеть надежно закрывается снаружи.

- Эгей, живой, братан? - крикнул весело. - Не окочурился со страху? Тогда, давай, выходи!

Так Вороной впервые услышал голос своего нового напарника, своего подземного коногона с довольно редким на шахтах именем Аркашка.

Аркашка взял Вороного за надежно привязанную бечевку, которая все-таки совершенно не шла к гордо выгнутой шее коня, осторожно повел между стоящими рядами вагонеток с углем, которые надлежало также затолкать в клеть и отправить на-гора. Вороной, почувствовав полнейшую зависимость от человека и обстоятельств, полностью смирился со своим незавидным положением, поэтому заспешил - и тут же поскользнулся на попавшемся под ноги куске угля...

- Не спеши, не спеши, - успокоил его коногон, и Вороной сразу же проникся к нему тихой благодарностью. Люди ведь разные. Попадешь к какому-нибудь пьянице или лиходею - три шкуры спустит! А этот вроде бы имеет сострадание.

Вороному еще предстояло убедиться, что Аркашка был самым обычным, почти не отличающимся от других коногоном. Подземные коногоны были все молоды, задорны и громогласны. Каждого из них можно было узнать по непременному кнуту в руках, по довольно чистой одежде, которую никак не сравнишь с одеждой тех же забойщиков, у которых брюки всегда протерты и залатаны на коленях, куртка изорвана и пропитана черной угольной пылью. Коногоны, как и другие бригады забойщиков, проходчиков или крепильщиков, держались вместе, обособленно, и отличались веселым нравом, шутками, прибаутками.

- Ну, что-о, - кричали они проходящим мимо вечно озабоченным забойщикам, - гудит гудочек - вставай, сыночек? Гудит гудило - вставай, мудило?

Согласно этой шутке, именно такими словами шахтерские матери по утрам будили на работу своих сыновей и мужей. И люди поднимались, шли на эту подземную каторгу. А как еще назовешь работу, где шесть-семь часов, в жарнице, поту и пыли, нужно ползать на коленях, ставя стойки и зачищая на конвейер лопатой просыпавшийся мимо рештаков уголь? Как еще назовешь ту работу, когда бывают такие тонкие пласты угля, где в выработанном пространстве не то, что сесть, но и перевернуться с живота на спину нельзя?! Как еще назовешь ту работу, когда не знаешь: увидишь ли завтра солнце, или уже сегодня тебя завалит или разорвет взрывом? А проходчикам разве легче, если у каждого так зацементированы породной пылью легкие, что если к старости, к пятидесяти годам, не отпадут, не отвалятся, то и дышать ими станет невозможно.

И то ли дело - коногоны, шутники и свистуны коногоны, задача которых возить со своими подопечными в вагонах и тележках груз! Коногоны, предшественники машинистов подземных электровозов, особая шахтерская каста, которой не пристало махать лопатой или долбить кайлом. Они в шахте белая кость. Впрочем, если вагоны бурились, то есть, сходили с рельс, наступала и для коногонов веселая жизнь...

Но сейчас никаких вагонов не было, Вороной шел налегке, то и дело настораживая уши. Околоствольная выработка была достаточно высокой, чтобы легко, не страшась набить себе на

лбу шишку, двигаться по ней. Но для Вороного, привыкшего к высокому небу, и она казалась какой-то черной, таящей опасность норой. Шагая впереди, коногон подсвечивал себе лампой, рассеивающей мягкий желтоватый свет. Рядом, по стенам выработки, ползли бесформенные тени, и Вороной сторожко косил на них глазом. Он не успевал о чем-то задуматься, потому что мысли то и дело перескакивали с одного на другое. Привыкнув к ползущим теням, испугался неожиданного писка и перебежавшей дорогу крысе. Аркашка тоже звонко свистнул, затопал ногами, стараясь напугать и без того напуганную подземную тварь, которую здесь никто не любил. Между тем, подземные крысы не раз спасали шахтерам жизнь, потому что заранее чувствовали обвал и скоро покидали опасное место. Следом за ними спешили и горняки. Однако, здесь, недалеко от ствола, никакого обвала опасаться не стоило. Валится там, в угольных и проходческих забоях, где выработка постоянно уходит вперед, чем нарушаются горные породы. Могло вывалиться и на штреке, придав работы крепильщикам. Но такое случалось редко.

Пока шли в одном направлении, в лицо дула упругая и теплая, даже горячая струя воздуха, которая называлась исходящей. Омыв многие подземные выработки, многие штреки, кваршлагги, бремсберги (названия-то все какие не наши - иноземные!) и, конечно же, угольные лавы, где особенно напиталась гремучим газом, который по-научному называли метаном, она приближалась к расположенному недалеко от ствола вентилятору и, высосанная его могучими лопастями на поверхность, растворялась в воздухе.

Но когда они прошли через две плотно закрывающиеся двери, там было намного спокойнее - никакой тебе струи, никакого ветра, никакого шума. Мало того, приближаясь к осветленному месту, Вороной с удвоенным волнением почувствовал такой родной и близкий ему запах конюшни! Он готов был обогнать своего коногона и бежать туда, где его вряд ли ожидают увидеть Гнедой и Сивый, уже давно вкусившие прелести этой подземной жизни. Вороной даже легонько заржал, представляя, как они обрадуются неожиданной встрече, как начнут расспрашивать его о том, что сейчас происходит на земле, какая там погода, какое там небо, какое там солнце... Начнут расспрашивать о Зорьке, еще не зная, что она, их общая любимица, с недавних пор изменилась, отяжелела, прекратила всякие ребячества, как настоящая взрослая лошадь, ожидающая жеребенка. Кто будет его отцом Вороной не знает. Да и зачем? Чтобы еще сильнее почувствовать свою тоску и обиду?

**4** Увы, встреча с Гнедым и Сивым, встреча с друзьями детства, оказалась не совсем такой, как представлял ее себе Вороной. Гнедой с Сивым, видно, все-таки знали, что сегодня в их полку пополнение, знали, что сегодня должны привести Вороного; стало быть, ожидали этого момента. Но ни особой радости, ни особых восторгов ни тот, ни другой, не выразили. Гнедой, правда, хоть подошел, толкнул для приличия Вороного в бок, не прекращая при этом жевать пахучее сено. Сивый же только молча смотрел на подземного новобранца, пару раз мотнув, будто что-то отгоняя, головой.

И Вороной все понял. «Ты вот до последнего радовался Божьему свету, - читал он в глазах своих друзей, - до последнего топтал мягкую землю, слушал пение птиц, вдыхал чистый воздух, любовался зеленью и высоким чистым небом, а мы...»

Вороной, конечно же, мог им возразить, что он ни капли не виновен, что задержался на земле, в то время как они, его друзья, уже надрывали под землей свои жилы. Но к чему эти возражения, эти слова, если Гнедой с Сивым и так все хорошо понимали. Понимали, но, как и люди, попадающие в такую же ситуацию, не могли отделаться от зависти и обиды. И ничего с этим не поделаешь. Надо смириться и терпеть. Видя их настроение, Вороной ничего не сказал о Зорьке, хотя, скорее всего, Гнедой и Сивый хотели бы что-то о ней услышать. У Вороного тоже была способная на обиду душа, и эта душа также заупрямилась, замкнулась, но и сейчас готова была раскрыться, если Гнедой с Сивым проявят к нему хоть чуточку внимания и доброты.

- Что, встретились? - засмеялся Аркашка. - Теперь вместе пахать будете. Давай сюда, Вороной! Тебя же Вороным звать? - уточнил он.

- Вороной, Вороной, - почему-то недовольно подтвердил из глубины конюшни пожилой конюх. - Давай, проводи его сюда. Пусть привыкает к своему месту.

Вороной еще раз посмотрел на Гнедого и Сивого, они, видно, уже собирались выезжать на работу и теперь только снисходительно поглядывали на Гнедого: «Ничего, сейчас и ты попробуешь - каково оно таскать в темноте эти вагоны, вовремя замечая поломанные стойки креплений, чтобы не задеть их больно головой и в то же время не споткнуться, не сломать ногу». Но Вороной теперь решил не обижаться. Ведь не известно, чтобы чувствовал он, если бы они поменялись местами.

Он прошел вслед за коногоном, стал в указанном месте, потянулся за приготовленным для него сеном.

Подземная конюшня напоминала обычную, стоящую на земле конюшню. В просторной, по сравнению с другими, выработке, которая наверняка и планировалась для этих целей, было несколько деревянных перегородок, чтобы лошади знали каждая свое место и не ссорились. Вентиляция здесь почти не ощущалась, чтобы вспотевшие лошади не простывали, поэтому в конюшне витал тот специфический запах, который присущ всем конюшням: конского пота, сена и несъедобных лошадиных яблок, которые, впрочем, тут же убирались.

Конюшня была слабо освещена. В дальнем углу стояли грубо сколоченные лавки и грубо сколоченный стол с лампой-коптилкой, которая и являлась источником всего освещения. Под этой лампой ели, а когда коногонам выпадали минуты отдыха, то и перекидывались в картишки. Правда, играли только в отсутствие штейгера. Рублем уже за это не били, но и поощрять не поощряли.

За Гнедым и Сивым действительно скоро пришли два коногона, два веселых молодых парня, переговорили, задорно переругиваясь с Аркашкой, который даже шутейно замахнулся на них кнутом, забрали своих четвероногих работяг и отправились работать. Вороной дожевывал свое сено, посмотрел на хозяина.

- Сейчас и мы, Вороной. Сейчас и мы пойдем.

**5** Первая его смена, или как говорят шахтеры, первая его упряжка, Вороному запомнилась, наверное, навсегда. На всю его жизнь. И не только потому, что она первая, и, как первая, самая утомительная и длинная. Просто в тот день в шахте произошел очередной несчастный случай, счет которым горняками был потерян не один год назад. Да и вообще - кто их подсчитывал, эти несчастные случаи, которые приводили к смерти или травме людей? Может быть, в конторе подсчитывали, для отчета вышестоящему начальству, которое за все происшествия сурово наказывало, лишая виновных премиальных. А виновными зачастую были сами пострадавшие. Ну, кто тебе разрешал работать в незакрепленном стойками месте? Ну, кто тебя, пьяного, заставил присесть отдохнуть прямо на колею, чтобы сорвавшийся с горки вагон переехал тебе ногу? Ну, кто... кто... кто?

В первый день сердобольный штейгер или десятник (позже их станут именовать еще более почтительно - горными мастерами) направил Аркашку с Вороным возить не уголь, а тележки с деревянными стойками, за что другие коногоны полушутя и накинулись на него. Здесь никто их не гнал в шею, главное, чтобы до смены успеть все перевезти, выгрузить и даже можно будет немного отдохнуть. Отдыхали коногоны и на угле, пока забойщики не загрузят все вагоны, но потом уж не теряй ни минуты! Быстренько к стволу, и быстренько назад. И не вздумай забуриться или, того страшнее, опрокинуть вагоны набок. Забойщики, конечно, вылезут из своей норы (вот уж где действительно нора: полметра высотой и несколько метров в ширину!), помогут поднять, поставят вагоны на рельсы. Но что только потом не услышишь в свой адрес!

Стойки нужно было доставить на старый вентиляционный штрек, к тому месту, где выработка была крепко задавлена, зажата и даже человеку там нужно передвигаться согнувшись. Условия там, конечно, не самые лучшие, жара, пыль, зато никто не подгоняет, как всегда быва-ет на откаточном штреке, по которому возят уголь.

Оставив Вороного невдалеке от разъезда, Аркашка сбегал, отыскал нужные две тележки, попросил парней помочь вытолкать их на свободный путь, где и прицепил к Вороному. В одном укромном месте отыскал специально затесанный с одной стороны распиленный, служащий коногонам примитивным тормозом. Как только вагоны или такие вот тележки начнут напирать с горки на лошадь, нужно приловчиться и подсунуть затесанный конец под одно из колес. Но подсунуть вовремя, и подсунуть так - чтобы вагон тут же не соскочил с рельс и не прижал к стене выработки самого коногона. А что... бывало и такое. И не раз.

Сосновые стойки были высохшие, легкие. Если бы дело было зимой, то пришлось бы Аркашке попотеть. А с этими, видно, успевшими полежать под жгучим солнцем, он будет управляться, как жонглер со своими принадлежностями.

- Ну, с Богом! - скорее, по привычке выкрикнул Аркашка и дернул вожжи.

Выкрикнул по привычке, потому что кто-кто, а коногоны редко бывают набожными. И если уж вспоминают Бога, то по другому поводу.

Вопреки недавним опасениям, Вороной довольно быстро приловчился шагать между двух рельс. Шпалы были закопаны, не мешали идти. Следи только, чтобы не попался кусок угля или породы. Тележки, пусть и нагруженные, тоже были легки, катились с тихим звоном. Выходит,

и вправду не так страшен черт, как его малюют? Там, на земле, в снег и дождь, тоже небось не сладко приходилось. И ноги скользили, и сверху лило, и холодом сковывало. А здесь только и того, что темень; но коногон Аркашка так старательно ему подсвечивает.

Подумав об этом, Вороной сразу же устыдился этих мыслей. Разве не понятно, что он просто-напросто пытается себя успокоить, убедить, что здесь, под землей, ничуть не хуже, чем на поверхности? А ведь это неправда. Ой, неправда! Хотя, наверное, тоже жить можно. Другие-то живут.

Они спокойно, без происшествий, без крика и недовольства одного другим доехали до вентиляционных спаренных дверей, за которыми и находился вентиляционный штрек, так называемого добычного (от слова - добыча) участка, быстро закрыли их за собой и оказались в настоящей парной! Вороной сделал вид, что никакой перемены температуры не заметил, только сильнее заводил боками, вдыхая совершенно безвкусный воздух. Аркашка же сразу снял свою куртку, затем потрепанную, с дырами под мышками, рубашку. Все это аккуратно сложил и примостил рядом со стойкой крепления.

- Что, жарко, брат? - участливо спросил он Вороного. - Ничего, сейчас проедем с тобой немного, выгрузим все это и - назад.

Чем дальше они продвигались по штреку, тем, казалось Вороному, становилось горячее. Даже в самую жаркую летнюю пору ему не приходилось испытывать такой нехватки воздуха. Он не чувствовался ни полостью рта, ни горлом, ни, тем более, легкими. Сами по себе легкие расширялись, в надежде на живительную влагу, но не получали ее, вынуждая учащенно биться сердце.

Вороной понимал, что Аркашке ничуть не легче, он то и дело вытирал согнутым локтем со лба пот, но горячие мелкие капли снова и снова орошали и лоб, и всю голову, и шею, и руки, все тело. Аркашка шумно вздыхал, отфыркивался, и как только добрались до нужного места, сразу же буквально упал на лежащие здесь распилы. В отличие от Вороного, он знал, что там дальше, в угольной лаве, в угольном забое работали люди. Работали всю смену, передвигаясь на коленях и дыша таким же горячим (ну, может, чуточку посвежее) воздухом. И уже всерьез мысленно возблагодарил Бога, что ему, еще молодому, неженатому, не приходится пока брать в руки лопату и также становиться на четвереньки.

Вороной отдыхал стоя, Аркашка, - расположившись на распилах. Но уже минут через пять он поднялся, начал раскручивать проволоку, которой были связаны стойки. А развязав, ловко снимал их с тележки и аккуратно складывал в штабеля. Работал ловко, будто играя, понимая, что чем быстрее справится, тем они быстрее вернутся на квершлаг, где совсем иная температура, где можно быстрее восстановить затраченные в этом пекле силы.

Так разгрузил одну тележку, так разгрузил и другую. Он уже переводил Вороного на другую сторону тележек, когда рядом, в забое, послышались какие-то крики, заплясали желтые огоньки...

Попавший под обвал шахтер был жив, но недвижим, и с таким бледным восковым лицом, что бледность эта заметно проступала даже через налет угольной пыли.

- Коногон?! Давай, браток, гони скорее своего мерина! Надо человека к стволу!

Вороной все понял, поэтому сделал вид, что не обратил внимания на обидное для него, коня, слово. А, присмотревшись к травмированному шахтеру, узнал в нем того самого рыжего парня, что зло подшутил когда-то над уборщицей шахтерской столовой.

Раненого положили на тележку. Двое его товарищей пошли с ним рядом, остальные вернулись в забой. Вороной не ждал команды, заторопился в обратный путь. И люди, в том числе и коногон, прилагали немало сил, чтобы не отстать.

Настроение Вороного заметно испортилось. Выходит, не врут про эту шахту, калечатся и даже гибнут здесь люди. И в первую очередь, наверное, такие, как этот рыжий. Шустрые, должно быть, очень. Лезут наперед батьки в пекло.

Вороной уже не обращал внимания на жару, на гулко бьющееся от нехватки кислорода сердце, спешил, даже пару раз споткнулся, но хода не сбавлял, понимая, что от него тоже зависит сейчас жизнь этого человека. Спешили так, что Аркашка даже забыл прихватить куртку и рубаху, что остались за вентиляционной дверью. Вспомнил о них лишь на квершлаг, где было заметно свежее и после недавней жары можно было простыть.

Рыжий парень лежал, не шевелясь, только голова мерно покачивалась на стыках рельс. Да левая рука его постепенно сползала с груди и уже начала так низко свешиваться, что, казалось, вот-вот попадет под заднее колесо. Парни на ходу поправляли ее и двигались дальше.

Метров за двести от ствола увидели несколько огоньков, которые двигались им навстречу. Что за бригада в середине смены? - подумал Аркашка. - Люди в забоях давно работают, а эти...

«Эти» оказались новичками, которые вместе с инструктором учебного пункта знакомились с основными выработками, чтобы уже завтра полноправными горняками влиться в шахтерский коллектив. Увидев коня и тележки, вежливо расступились, освободили дорогу.

- Осторожнее, осторожнее! - бодро подал голос и инструктор, прерывая рассказ о родном предприятии, которое даст возможность работать и безбедно жить этим молодым людям, приехавшим на шахты из соседних областей. - Это вот вам настоящий коногон и его лошадь...

Но, увидев лежащего на тележке человека, тут же прикусил язык и молча проводил их взглядом. Молчали и новички, тревожно переглядываясь. Инструктор сделал вид, что ничего страшного не произошло, простецки высморкался в сторону и, вытирая о штанину влажные пальцы, задорно сказал:

- Ну, что, пойдём дальше?

Но парни не двигались.

- Слушайте, - тут же нетерпеливо спросил один, - а как нам назад к стволу выйти?

- Куда? - расслышав, но боясь поверить, переспросил инструктор, заглядывая паренку в лицо. - Да вы что, парни?! Вы... из-за этого? - кивнул в сторону удаляющихся тележек. - Так это чепуха! Это бывает... но редко! Волков бояться - в лес не ходить. Не бойтесь, привыкнете. Что ж вы так сразу на попятную?

Заволновались, о чем-то тихо переговариваясь, и остальные.

- Так куда нам к стволу теперь?! - спросили еще резче и еще нетерпимее.

Инструктор тяжело вздохнул, снял с головы черную фибровую каску, вытер вспотевший лоб.

- Всех назад вести? Или кто-то все-таки останется?

Новички столпились и начали совещаться.

**6** Отработав «упряжку», лошади возвращались в конюшню, каждая на свое законное место, где их ждала хорошая порция не потерявшего вкуса и запаха сена, отдых и общение с друзьями по несчастью. Что ни говори, а счастливым здесь никого из них не назовешь. Счастье тем, кто остается на поверхности земли, как и предполагалось по Божьим законам. А на самом деле получается, что Бог предполагает, а люди располагают. Заточили вот безвинных животных глубоко под землей, вынудили тяжело работать и месяцами не видеть солнца, и - справились.

Кроме своих друзей Гнедого и Сивого, Вороной увидел теперь и других, почти незнакомых ему, лошадей. Самым приметным был среди них Монгол, низкорослый и, говорят, неутомимый конек, подаренный Красной Армии дружеской Монголией. Оставленный здесь после ранения, он все послевоенные годы работал на восстановлении шахты.

Последним приволок ноги самый старый из них, Орел, всегда веселивший свежего человека своей гордой кличкой. Вошел тихо, незаметно, словно боялся кого-то побеспокоить. Поводил по сторонам полуслепыми глазами, чуя кого-то новенького. Но долго присматриваться не стал, прошел на свое место, принялся медленно жевать своими истершимися желтыми зубами. Он всегда так: и приходил позже, и ел дольше всех, зная, что после обеда одни здесь стоя заснут, другие же, кто помоложе, кто меньше устает, попросят что-нибудь рассказать.

Орел действительно много пережил, много знал. Молодежь это понимала, поэтому старалась побольше расспросить, пока его, как совсем выработавшегося, не отправили на-гора. А там не далеко и до живодерни.

Как Вороной и предполагал, друзья его, Гнедой и Сивый, после смены слегка подобрали к нему. К тому же прослышали, что Вороному в первый же день случилось подвозить к стволу тяжело раненого человека (слава Богу, хоть не убитого). Значит, успел таки хоть чуточку нюхнуть этой шахты, почувствовать что это такое, посочувствовать им, своим друзьям, Гнедому и Сивому.

Лошади уже успели пообедать, теперь притихли, прислушиваясь, как натружено гудят их мокрые ноги. И только Орел, которого, говорят, в молодости называли Орликом, все еще хрустел и, отбиваясь от назойливых мыслей, помахивал головой. Когда же управился с последней, такой пахучей, былинкой, пару раз переступил ногами, чтобы в конюшне поняли, что и он, старый, закончил свою трапезу.

- У нас новенький, - сказали ему, - ты, наверное, такого и не помнишь.

Услышав, что речь о нем, Вороной тоже затоптался на месте, подсказывая местному патриарху, где он находится. Подозревал же, что Орел, долго проработав под землей, потерял зрение и почти ничего не видит. Орел приподнял повыше голову и утвердительно кивнул. Знаю, мол, слышал, что прислали на место Баркаса. «Эх, Баркас, головушка твоя горькая! В войну, конюх

рассказывал, Днепр переплывал, вместе с моряками расформированной позже Днепровской флотилии, и жив остался! А сколько потом, при восстановлении шахты, кирпича и бетона перевозил! Все выдержал и выдюжил, а подземная каторга доконала...»

Услышав эту кличку, Орел, Вороной почувствовал легкое волнение. Где он слышал ее? Когда? Память ничего не подсказывала, а волнение не проходило. Спрашивать что-то у Гнедой или Сивого было неловко. Лучше уж напрямую у самого патриарха.

- Тебя так красиво называют, - явно желая угодить, с почтением сказал Вороной. - Орел!

В конюшне добродушно заржали.

- Так он же из этих, из орловских, - поспешил объяснить Гнедой. - Дворянин, не то, что мы.

Вороной от кого-то из людей слышал, что существует такая порода лошадей - орловские рысаки. Это звучало так же гордо, как, например, гвардейская часть. Или раньше, при царе, лейб-гвардия. Но почему именно - орловские? Из Орловских земель, что ли?

- Не-ет, - снова мотнул головой Орел, уже давно не похожий на орла, в переносном, разумеется, смысле. - Так еще мои предки назывались, по фамилии хозяина конезавода графа Орлова, который держал его в Воронежской области.

Во-она как?! Измученный до невозможности подземной каторжной работой, Орел принадлежал к самой известной и уважаемой породе лошадей?! И как же ты под землю попал?

- Долго рассказывать, - будто нехотя сказал Орел, будучи сегодня не слишком словоохотливым. И все же разговорился: - Все с войны началось. Как подошел немец к Москве, так забрали с ипподрома и нас. Я попал в конный корпус самого молодого генерала той поры Льва Доватора. О-о-о, это были рубаки! Бывало, как прорвем фронт да как пойдем по немецким тылам, кроша их всех в капусту! Пленных никогда не брали, как было еще в Гражданскую. Хоть поднимай руки, хоть не поднимай, - куда тебя потом девать? А нам нужно было дальше, вглубь тыла... Шашки наголо, да как засвистим!..

Орел не говорил «они», подразумевая своих кавалеристов, Орел говорил «мы», явно гордясь своим фронтовым прошлым не меньше, чем своей родословной. Лошади это понимали, но ни у кого не возникало желания состричь на этот счет и даже слегка подтрунить над ним.

- И долго ты так воевал? - спросил кто-то.

- Так... пока хозяина не ранило. Да и меня задело. Хорошо еще, что на своей территории. Если бы в тылу, то могли бы замерзнуть оба. Не всегда же уследишь, что кого-то вышибли из седла, что кто-то упал под копыта. Кавалерийская атака, ребята, - это сила, это мощь, это натиск и скорость!

Лошади переглянулись. Ну-у, завели старика! Гляди-ка, как начал выражаться. Будто сам Семен Михайлович Буденный!

В конюшне произошло оживление, Орел сразу догадался о его причине, застенялся своего хвостовства. И вместе с тем, почувствовал, что ему бы еще хотелось рассказать что-то интересное и героическое этому молоденькому коню вороной масти. Ведь и у него был же когда-то такой жеребенок, его сын. Был, пока не разлучили люди.

Лошади еще постояли, подумали каждая о своем и стоя заснули.

Спите, родимые! Пройдет несколько часов и вам снова на смену. Снова, спотыкаясь и скользя в мокрых местах, таскать за собой телеги и вагоны, крепежные материалы и уголь, и особенно тяжелые вагоны с каменистой и никому не нужной породой.

А пока спать. И пусть вам всем приснится широкий, пахнущей свежей травой и полевыми цветами луг. Пусть вам всем приснится голубое небо и щекастое смеющееся солнце, потому что теперь увидеть все это наяву суждено не всем.

**7** Прошло пару месяцев. Несмотря на сравнительно небольшой срок, Вороной полностью освоился в шахте, заматерел. Теперь не только посторонние люди, встречавшиеся на его подземном пути, видели в нем настоящего могучего тягача, но и его друзья, Гнедой и Сивый, стыдливо забывая свое недавнее поведение, относились к нему с должным уважением и вниманием.

Вороной довольно скоро научился определять конец рабочего дня, конец рабочей смены. Тогда он сразу же бросал свои тележки или вагоны и степенно направлялся в конюшню. Не бежал, не размахивал хвостом, дескать, извините, но я свое отработал, как порой делали другие, а шел неспеша, как добросовестно исполнивший свои обязанности труженик, уже хорошо запомнивший - где по дороге нужно пригнуться, где - посмотреть под ноги. Мало того, Вороной даже научился подсчитывать количество вагонов, строго следя, чтобы Аркашка или подменявший его изредка паренек не прицепили лишнего. Положено пять, - значит, и должно быть пять! И ни одного вагона больше. Как определял? А по сцепкам. По сцепкам, которые соединя-

ли вагоны. Потянул легонько за собой всю связку и тут же начал подсчитывать: одна шелкнула сцепка, вторая, третья, четвертая... Четвертая тянула пятый вагон. Значит, все! Прицепите лиш- ний вагон, - сами и повезете.

И стоял упрямо, как тот ослик, чтобы не зубоскалили и не пытались его надуть.

Как-то совершенно неожиданно и не предсказанно пришлось ему проститься и с Орлом. Аркашка как раз выводил Вороного на работу, угостив перед этим корочкой хлеба, будто заран- нее задабривая его. Смена-то, упряжка эта, довольно долгая. Может, и вспылит отчего-то Ар- кашка, заорет или замахнется на Вороного. Это ведь шахта-матушка, она кого угодно из себя выведет. Так что не обижайся тогда, Вороной, пожуй вот хлебушка.

Вороной давно все понимал и не обижался. Снял мягкими губами удивительно вкусный кусочек черствого хлеба, с налипшими кое-где крошками табака, начал бережно жевать. В ко- нюшне уже никого не было, кроме снова замешкавшегося Орла. Вороной уже прошел мимо него, но Орел позвал:

- Сынок!

Вороной вздрогнул, повернул голову.

- Сынок, - еще ласковее сказал Орел, - давай прощаться. Меня сейчас выдают наверх.

- Наверх? - тупо переспросил Вороной, почти оглушенный этим словом - «сынок». - А... зачем?

Орел промолчал, не ответил. Ясно - зачем. Ноги не носят, глаза не видят. Работы с такого никакой.

- Прощай, сынок. Пусть тебе еще посчастливится увидеть солнце.

- И тебе, - почти машинально вырвалось у Вороного. Он хотел добавить «Орел», но не смог. Сказать «отец» тоже не получалось, язык не поворачивался. Ведь патриарх, может, назвал его сыном вовсе не по родственной причине, а по причине своего почтенного возраста.

Он потом несколько дней просто таки казнил себя за эту свою черствость и нерешитель- ность, за то, что не уважил старого доброго коня - не назвал его святым словом «отец», не пора- довал хоть в последние дни его далеко не радостной жизни. И успокаивал себя только тем, что мудрый Орел правильно его понял, хоть и сам он не решился на какое-то откровенное призна- ние.

Вороной на минуту положил свою голову на шею измученного шахтой и старостью коня, в глазах которого увеличительными стеклами стояли слезы, затем кивнул, прощаясь, и пошел вслед за коногоном.

После ухода Орла Вороному все-таки удалось припомнить, что это имя он слышал от мате- ри. Но так давно, что полностью в этом не был уверен. После ухода Орла ему, как по заказу, стал постоянно сниться тот самый луг, что примыкал к их конному двору. Да, собственно, никаких других лугов Вороной и не видел. И наверняка не увидит.

А этот, родной и близкий, на котором прошли его ранние годы, снился таким ярким и кра- сочным, каким в реальности и не был. Невысокая, прибитая копытами трава в снах его всегда виделась высоченной, почти в пояс, и такой зеленой и сочной, что, потревоженная жеребьей игрой, разбрызгивала во все стороны густой сладчайший сок.

Отныне в его сны всегда приходила мать, которую он в последние годы также не видел, не встречал и, что удивительно, не очень-то и скучал за ней. Может, потому что в реальной жизни он уже давно был взрослым, лишенным излишней сентиментальности конем, способным и го- товым не только на тяжелый труд, но и опасную воинскую службу. Во сне же он всегда чув- ствовал себя малым жеребенком, которому ну никак нельзя было без мамы. Вот и кружили они вдвоем в легком беге по этому лугу, вот и радовались ласковому утреннему ветерку и встаю- щему над горизонтом солнцу. Сны эти часто приходили под утро, поэтому всегда таким разоча- рованием была наполнена серая и однообразная явь. Опять эти вагоны, опять эти бесконечные подземные километры, опять эти предупреждающие свисты коногонов, когда приходилось ми- гом прижиматься к стенке выработки, если вагоны набирали скорость под горку.

Вороной стал все чаще задумываться о своей горькой судьбине, которая могла бы оказать- ся совершенно другой. Ему, еще молодому, полному сил и желаний, становилось страшновато от мысли, что на землю он ступит только тогда, когда станет, как бедняга Орел, большим и ста- рым. Эта мысль была такой мучительной, что начинала отравлять ему жизнь. Он не знал, что чувствуют сейчас все его товарищи по несчастью, но мог предположить, что нечто похожее. Разве они не такие же лошади? Разве они не такие же живые существа? Разве они рождались на свет, чтобы вот так же сгнить во мраке?

Думать об этом было невыносимо.

Но как-то под выходной (а лошади тоже безошибочно определяли, - когда у людей, а значит и у них выходной!) всех их, всю конюшню, повели к стволу, где перед этим расчистили от вагонов околоствольную площадку. Лошади сначала недоумевали: ну, чего не даёте по-человечески отдохнуть? Потом каждый примолк. Неужели будут вывозить на-гора?! Не война ли случилась, или какая другая беда?

Так и есть: лошадей снова по одному, как и при спуске, заводили в клеть и отправляли наверх. Когда Вороной дождался своей очереди и выехал на поверхность, время подходило к утру, но еще не рассветало, поэтому его повлажневшим, отвыкшим от дневного света глазам было совсем не больно смотреть на высокие стены копра и других поверхностных строений, которые ему казались сейчас такими родными и близкими, что хоть становись на колени. Вороной, словно не веря происходящему, крутил головой и никак не мог надыхаться по-утреннему свежим, настоящим на аромате степных трав воздухом.

Не менее ошеломлены были и другие лошади.

А когда постепенно рассвело, и малиновый клубок солнца зацепился за дальний террикон маячившей на горизонте шахты, Вороной неожиданно увидел, как по околоствольным рельсам шахтной узкоколейки катится невиданная здесь ранее металлическая коробка, в которой сидел человек. Хвастая своей силушкой, коробка эта тащила за собой несколько вагонов. Затем ее погрузили в клеть и отправили вниз.

Через минуту показался конюх.

- Ну, что, родимые, - стараясь придать себе бодрости, с хрипотцой выкрикнул он, - закончилась ваша подземная каторга! Электровозами теперь будем уголь возить! Айда за мной на конюшню!

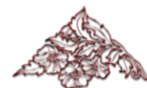
Некоторые заржали. Вороной же не смог...

От радостного волнения ему перехватило дыхание.



Микола ТЮТЮННИК. Украина.

*Жизнь даётся один раз.  
Ещё раз я бы не выдержал.*



## Скелеты старых кораблей...

Скелеты старых кораблей,  
Разбитые, иссушенные ветром,  
И время, что всего сильней,  
уснуло здесь, в пальтишке ветхом.

Канаты, цепи, словно вены,  
свисают, прячутся в песке.  
Фрегат, припавший на колено,  
навек замер, с дыркой в виске.

На кладбище былых побед,  
стоит он памятником воле,  
а на корме снаряда след.  
Потоплен был он, но не сломлен.

На якорь боком опираясь,  
где имени уже не разобрать,  
там пёс бродячий, озираясь,  
под киль крадётся ночевать.

Нам ничего история не скажет,  
Она слепа порою и глуха.  
Отъявленных мерзавцев не накажет,  
пока Фортуна дует в паруса.

Сайт Проза.ру © Copyright: Олег Крюков 3, 2015  
Свидетельство о публикации №215012900653



*Жизнь вынуждает нас  
многие вещи делать  
добровольно.*

## Друг предаёт

Друг предаёт особо безнадежно,  
Зажмурившись в упор стреляет в грудь.  
И ничего исправить невозможно,  
И ничего нельзя перечеркнуть.  
Друг предаёт истошно и надсадно,  
Кусая губы, стиснув кулаки.  
Нигде, как здесь уместно: беспощадно!  
Нигде, как здесь есть право у тоски.  
Друг предаёт всегда непоправимо,  
Зашив в мешок и честь свою, и стыд.  
Рыдайте ж трубы, плачьте что есть силы  
За предающего - фортиссимо навзрыд!

Терентій Травнікь



*Если не знаешь, для чего  
живешь, говори всем –  
для демографии.*  
(М. Туровский)



## ГОНЧАРОВ ГЕННАДИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился в Сибири. Кандидат геолого-минералогических наук. Работал геологом по 1997 год. Автор более сотни научных статей, монографий (Ленинград). В Австралии с 1997 г., проживает в Канберре.

По приезде в Австралию, Гончаров создал множество увлекательных рассказов, в основу которых вошли эпизоды из быта геологических экспедиций, где он сам непосредственный участник-очевидец. Издал около полутора десятков книг, три сборника на английском языке; с 2000 г. его повести и рассказы публиковались в русских журналах Австралии, а также в Германии, Австрии и Финляндии.

Рассказы Гончарова переносят читателя в эпоху его геологических изысканий по необъятным просторам России. Написаны они настолько ярко и правдиво, со знанием жизни геологов, что трудно не почувствовать суровые, зачастую страшные условия, в которых им доводилось работать: пороги горных рек и гибель друзей; рваные палатки и сон на промёрзшей земле тундры; взрыв и крушение старого служебного самолёта; падение вертолёт в дебрях Богом позабытой северной глубинки... без какой-либо связи с миром, без продуктов и медицинской помощи, когда люди не знали - найдут ли их; или скалистые пропасти, болотная трясина, где каждый неосторожный шаг грозил гибелью...

Гончаров - замечательный рассказчик, его творчество впору экранизировать. Но как передать дух его повестей, да и самого автора - этот удивительный СВЕТ, несмотря на мрак происходящего, его безграничную доброту ко всему живому, но более всего - к человеку?

# ПОСЛЕ СМЕРТИ

*Посвящается лётчикам малой полярной авиации.*

Возить лошадей и взрывчатку на самолётах малой полярной авиации было категорически запрещено. Так записано в «Правилах перевозки людей и грузов на воздушном транспорте». Это, так сказать, «де-юре». Однако, «де-факто», написанных правил, придерживались только начальство авиационных грузоперевозок, да командиры эскадрилей полярной авиации.

Бывшие летчики, ассы, прошедшие чудовищную мясорубку войны, а теперь отстранённые врачами по годам и здоровью от полётов, были оставлены при авиации на бюрократических должностях. Это были крепкие, ещё здоровые люди, от тридцати до пятидесяти лет, которые не умели ничего делать, кроме как летать. Для них жизненно важно было если и не летать, то хотя бы находиться при авиации, при самолётах. Поэтому они строго блюли предписанные правила, опасаясь увольнения на гражданку за любую провинность. На гражданке их ожидала нерадостная жизнь. Время было суровое, послевоенное, пятидесятые годы...

Сразу после войны, из авиации особенно активно отправлялись на гражданку тысячи и тысячи военных летчиков так называемой малой авиации. Как командармы и генералы во время войны не жалели пехоты, и бросали её на минные поля, и она сотнями-тысячами гибла, разминировав своими мёртвыми телами проходы для танков и тяжёлой техники... так и юных школьников и школьниц, десятиклассников, целыми выпусками отправляли в авиационные училища, и за три-четыре месяца якобы «подготавливали» их воевать с немецкими ассами.

За эти месяцы юноши и девушки - в лучшем случае - овладевали техникой взлёта и посадки своих тихоходных машин Ш-2 «шаврушек», У-2 «кукурузников», да По-2 «полек». После короткого авиационного «обучения» они бросались в бой... и тысячами гибли в неравных воздушных боях со скоростными фашистскими машинами, немецкими ассами. Сотни «шаврушек» и «кукурузников» взлетали по утрам с военных аэродромов и часами барражировали в облаках в ожидании немецких эскадрилий. При появлении фашистских самолётов, они кидались на них из облаков, как гладиаторы на льва, и начинали поливать их плотным огнём. Иногда удавалось подбить одну две вражеские машины. Однако, маневренные, скоростные истребители немецких ассов быстро расправлялись с беззащитными советскими летчиками. Редкой «шаврушке» или «кукурузнику» удавалось избежать страшного избиения. Куда меньшие потери несли авиаторы истребителей, да пилоты тяжёлых самолётов дальней авиации. Особенно со второй половины войны, когда массово стали поступать на вооружение авиации ИЛы и ЯКи.

Летчикам «шаврушек» и «кукурузников», чтобы выжить в неравных боях, приходилось овладевать фантастической техникой боя, изощрённой хитростью и, конечно же, невероятной отвагой. Во избежание неминуемой гибели, летчики - при спасении - бросали свои машины в узкие лесные просеки и уходили от преследований «мессеров» едва-едва не касаясь крыльями деревьев. Ухитрялись сажать свои машины на галечные косы рек меж отвесных ущелий. Приземлялись на сельские дороги - среди высоких стеблей кукурузы или полей пшеницы, и маскировались там. Ныряли на деревенские улицы и проспекты городов, приводнялись даже на реки и озёра. Машины, конечно, тонули, но летчики иногда спасались. А в военную авиацию приходили всё новые пополнения плохо обученных пилотов... Доучивались в бою.

Когда война закончилась, десятки... может быть, сотни тысяч молодых лётчиков, оставшихся в живых, вдруг оказались в таком количестве никому ненужными.

И двадцати-тридцатилетние мужики, умеющие только летать и убивать, были выкинуты на гражданку. И разбрелись они по обширной Российской империи в поисках работы и куска хлеба. Они не гнушались никакой работы - лишь бы при авиации, при самолётах. И заполнялись опустевшие было за войну аэропорты российских окраин на западе, на востоке страны, высокогорные взлётно-посадочные полосы южных республик Союза, и, конечно, безбрежные пространства Советского Заполярья и острова Ледовитого океана. Выжившие после страшной войны лётчики завели семьи и устремились на работу, которую они только и умели делать.

Продолжалась жизнь после смерти...

Алёшин сознательно посвятил страницу рассказа военным лётчикам. Именно благодаря им - их бесстрашию, профессиональному мастерству, их мужеству брать на себя решения бытовых геологических проблем как своих - большинство людей бродячих профессий и выжило в той ситуации, о которой можно теперь рассказать...

По долгу геологической службы, Алёшин тесно общался с поколением послевоенных летчиков и на Памире в Таджикистане, и в знойных песках Туркестана, и в гималайских горах Тувы и Монголии. Но самые лучшие, памятные долгие годы Алёшина были связаны с пилотами малой авиации Заполярья - от Скандинавии до Чукотки.

История, которую он сейчас поведает, произошла более пятидесяти лет назад. Этот эпизод своей жизни Алёшин не записывал даже в дневниках, которые аккуратно вёл лет, пожалуй, с семнадцати. На то были свои... горькие, страшные причины. В советское время любые нестандартные истории разглашать не полагалось. Особенно если эти истории были связаны с авариями, смертями, трупами. С Алёшина и его приятелей была взята подписка о неразглашении случившейся истории - сроком на пятьдесят лет.

Сегодня минуло пятьдесят лет.

Снялось вето и с молчания Алёшина, и с молчания участников событий. Остался ли кто-нибудь в живых из его спутников далёких лет? Бог весть. Если и жив кто-то, то искать надо в России. Алёшин в те годы был самым молодым парнем в этой компании. Его бывшим спутникам в настоящее время уже далеко за восемьдесят лет, а некоторым и под сто. А в России продолжительность жизни...

- Давай, давай, ребята! В темпе! Закидывайте свои ящики! А снаряжение, тючки, мягкие вещички кидайте сверху, для маскировки. А ну, начальник подскочит! Увидит ящики - поинтересуется. «С чем?» - спросит...

Геологи загрузили в гидросамолёт АН-2 ящик с взрывчаткой, и закидали его сверху выючными сумками с продуктами, посудой, спальными мешками, палатками. В одной из сумок был упакован охотничий провиант. Вот из-за этой сумы и случилась трагедия...

Взаимопомощь, взаимовыручка среди людей бродячих профессий были более чем родственные. Так и в тот раз: базирующие в поле, недалеко от геологов, коллеги-геофизики попросили захватить с базы ящик с взрывчаткой, необходимой для проведения геофизических работ. В жестких правилах перевоза взрывчатки специально оговаривалось: «Динамит и детонаторы к нему - обязательно перевозить раздельно». Увы! Денег на спецрейсы самолётов по смете выделялось ничтожно мало. И геологи, и геофизики обречены были обходить, нарушать эти правила. Часто ценою жизни. Но что такое жизнь геолога, летчика, человека в России в пятидесятые годы?! Ничто! Вот самолётики, станки, надувные лодки, палатки ценились! За их гибель, потопление, уничтожение - каралось жестко. Вплоть до тюрьмы! На их списание требовалось не менее двух свидетелей, на акты - в четырёх экземплярах - специально созданные комиссии. На гибель или исчезновение людей - ничего этого не было нужно. Даже расследований не проводилось. До суда дело вообще не доходило.

У Алёшина утонули двое коллег из отряда. Следователи с ним даже не беседовали. Суда не было. И уже на следующий год, в полевой сезон, он вновь возглавлял геологический отряд. Почему? Да потому, что случись такие расследования, ответственность бы понесли руководители научно-исследовательских институтов, начальники полевых экспедиций. Люди могли бы задуматься и о вине существующей политической системы, государства...

Если уж говорить откровенно, виновной была именно политическая система страны. В тоталитарной, военизированной стране относительно неплохо снабжалась лишь армия. И лишь позже, в шестидесятых годах, когда в армии появилась более совершенная техника, легкие рации, надувные лодки, - старое, списанное оборудование стало поступать в полевые отряды исследователей. А в то время, когда случилась эта история, раций в отрядах не было, спасательных жилетов тоже, медицинские аптечки были убогими. Оглядываясь теперь назад, поражает, что при таком наплевательском отношении государства к безопасности геологов, геофизиков, топографов - жертв было куда меньше «чем хотелось бы». Только взаимопомощь, взаимовыручка спасала жизнь людей, но отнюдь не забота государственных служб.

Так и в тот раз. Геологи со вторым рейсом отправляли дополнительный груз и, по просьбе коллег-геофизиков, прихватили для них ящик с взрывчаткой, а также двух молодых рабочих - Бориса и Якова. Гидросамолёт АН-2 вёл командир Виктор; второй пилот - Семён; и ещё был механик Роман. С ними летели Алёшин и техник Игорь. Всего семь человек.

Самолёт взлетел. Взял курс на север.

После тяжёлой загрузки все на борту расслабились, облегчённо вздохнули и вальяжно развалились на ящиках, тюках, сумках. Закурили. Алёшин, - он тогда ещё курил, - задымил папирсой беломорины; рабочие скрутили огромные самокрутки крупно нарезанного табака.

Лететь до первой посадки на озеро к геофизикам предстояло около двух часов. Но не строго на север от аэропорта до геологов, - как было записано в полётном листе, - а с существенным отклонением к западу, к лагерю геофизиков. Об этом экипаж самолёта, по договорённости с геологами, умолчал. Геофизики обещали снабдить экипаж озёрной рыбой муксуном, чиром, сигом, а геологи - они стояли на берегу океана - подбросить лётчикам сёмги, ленка...

Перекурив, пассажиры самолёта притушили окурки, побросали их в сторону груза, под брезент, и заснули. Через полтора часа, когда уже пролетели около двухсот километров, и до лагеря геофизиков оставалось шестьдесят-семьдесят километров, из-под брезента, покрывавшего снаряжение и ящик с взрывчаткой, показался дымок. Вскоре дым заполнил грузовой отсек.

Алёшин, первым очнулся от едкого дыма и крикнул экипажу:

- Горим!

И тут полыхнуло...

«Порох в суме, с охотничьим снаряжением вспыхнул! - понял Алёшин. - Сейчас патроны начнут рваться! Сдетонируют запалы к взрывчатке, и тут же динамит взорвётся в ящике! Все погибнем..!»

- Командир! Горим! Срочно садись! Через минуту-две рванёт! Тут взрывчатки!!!

Первый пилот оглянулся через плечо, увидел пожар в салоне самолёта. Понял всё. Самолёт уже был брошен им в пике, и с рёвом мчался к земле... к озёрам. Но до того успел скомандовать:

- Все быстро в кабину! Закройте дверь!

Это были военные лётчики. Их фантастическая реакция обреталась на войне - на смертях друзей, товарищей... собственных. Все пассажиры из салона самолёта мгновенно заполнили тесную кабину и каким-то чудом поместились в ней. Алёшин упёрся спиной в дюралевую дверь пилотской.

- Ну что, ребята, - с каким-то сумасшедшим азартом и почти безумным взглядом в глазах, прокричал командир, - молитесь Богу: сейчас вознесёмся! Либо взорвёмся, либо разобьёмся! Озерко-то слишком мелко для нашего «кукурузника»...

«Вот и не уберёт меня... нас... Всевышний», - успел подумать Алёшин за секунду перед падением самолёта.

Времени на оценку глубины озера, длину - не оставалось. Командир с ходу выровнял машину - и ударился поплавками о мутную воду озера. И заскользил по ней задрал нос. Но ещё за мгновение до приводнения, он уже понял: глубина озера слишком мала для приводнения. Через мгновение самолёт скапотирует и перевернётся. «Выживет ли кто?» - подумал командир.

И в это время рвануло.

Пламя вспыхнувшего пороха добралось до снаряжённых патронов, - они начали выстреливать, взрываться; тут же детонировали запалы; за ними рванул и динамит в ящике. Мощный

взрыв в хвосте самолёта точно совпал с приводнением. Самолёт подкинуло над озерком, и тут же бросило в воду. Взрыв погасил скорость скольжения при приводнении, и спас самолёт от опрокидывания. Хвост дюралевой машины был срезан взрывом. Он вознесся на несколько метров над водой, на мгновение завис и, как в замедленном кино, булькнул в мелкий илистый грунт озера.

Осколки забарабанили во вздувшуюся дверцу, отделяющую кабину пилотов от грузового отсека, но не проббили её. Алёшина отбросило на приборную панель самолёта. Передняя часть самолёта с кабиной пилотов на какое-то время замерла в полувертикальном положении, воткнувшись носом в вязкое дно озера. Винт самолёта срубил вода. Затем искорёженный остов аннунки медленно опустился на поплавки и замер над водой.

Люди очнулись и оглядели друг друга.

- Ну... - командир хотел что-то сказать, и вдруг нервно расхохотался: - Никак все живы?! Вроде, целы? Ну, давайте, ребяташки, выбираться на берег! Здесь нечего больше ловить. Может что-нибудь из барахла, из продуктов спасём? Боюсь, нас не скоро найдут... Надо выживать.

Первый пилот был всё-таки из бывших военных летчиков. Он не растерялся и нашёл нужные и точные слова в этой ситуации. Да, надо выживать. Растерянность и обречённость у пассажиров рухнувшего самолёта отступила.

«А вот этого я не ожидал, - подумал Алёшин. - Снова Бог оберёт», - прошептал он бабушкины причитания. В памяти пронеслась картина давно минувших дней. Он, семилетний парнишка, лежит на бечевнике мутной речушки. Его только что спасли от утопления. Над ним плачет и причитает его бабушка. Её слова «Стало быть, ты ещё угоден Богу», он запомнил на всю жизнь. Вот и опять...

- Где Игорь? - вскрикнул Алёшин.

В кабине его не было. Он не услышал команды командира. Спал на куче груза, на взрывчатке. И при взрыве наверняка погиб...

Пассажиры с трудом выбили дверь в грузовой отсек. Самолёт просел на хвост, точнее туда, где был хвост, и вода залила салон до самой кабины. По периметру оторванной части самолёта торчали безобразно изогнутые дюралевые края обшивки салона. Груза не было.

- Вперёд, ребята! У кого сапоги с длинными голенищами? Выходите первыми. Здесь не должно быть глубоко. Холодно, может.

Алёшин понял, что в создавшейся ситуации надо подчиняться командиру. Сейчас требуется единоначалие. И он, подняв голенища резиновых сапог, первым шагнул в воду, держась за причудливо завитую в спираль обшивку бывшего самолёта.

Озеро в этом месте оказалось мелким. Ила почти не было. Под его тонким слоем прощупывалось гладкое ровное дно. Вечная мерзлота. «Вот поэтому самолёт и не опрокинулся, - подумал Алёшин, - мы как по катку прокатились». Вода не доходила и до колен. До низкого берега было метров шестьдесят, семьдесят.

- Яш, Борь, - выходите. Отверните голенища сапог. Пошагали к берегу. А вы потом выберетесь. Мы принесём вам сапоги, - обратился Алёшин к экипажу, и они побрели к берегу.

Вскоре все, оставшиеся в живых, собрались на берегу, поросшем карликовой полярной берёзкой. Закурили.

- Ну, что ж, - заговорил командир, - ситуация скорбная. Но могло быть и хуже. Не все погибли. Будем надеяться, что нас вскоре найдут. А пока начинаем выживать. Первое. Жёстко экономить спички. У кого они есть?

Спички оказались у Алёшина, командира и рабочего Бориса.

- Давайте их все сюда. Они будут храниться у меня и у второго пилота, Семёна. Прикуривать только от одной спички, и друг от друга. От костра. Ну да папиросы и махра вскоре закончатся. Так что спички только для костра. А сейчас побродить по озерку и выловить всё, что удастся - палатки, спальники... Но прежде - любые корма. Хорошо бы выловить какую-нибудь посуду - чайник, кастрюлю, ведро. Первыми идём мы с Семёном и ты, Яков. Мы в сапогах. Потом нас сменят Алёшин, Роман и ты... как тебя, Борис. Вы трое подниметесь вон до того песчаного холма, подальше от берега. Кажется, там песцы его обжили. Соберите высушенной берёзки, сухой травы для костра. Вот тебе, Женя, спички. Одна спичка на костёр. Экономьте. Мы пошли. Озерко-то небольшое. Метров сто пятьдесят во все стороны...

Они шагнули в воду.

Алёшин, Роман и Борис поднялись на склон холма и начали собирать сухие ветки берёзки, пожухлую траву для костра. Их ноги в ботинках быстро промокли и заледенели.

Не успели они разжечь костёр, как услышали крик Виктора, командира самолёта.

- Эге! Эй! Алёшин! Мы Игоря нашли. Мёртв. У него вся голова разбита. Что делать?

Алёшин подошёл к кромке воды. Постоял, подумал, потом прокричал:

- Вытащите его аккуратно на берег. Там ближе. Надо бы его в мерзлоту положить. Мох чем-то разрыть. Ну, это потом. А пока оставьте на берегу. - И Алёшин, опустив голову, вернулся к ребятам.

Вскоре они разожгли костерок, расселись вокруг и протянули к нему мокрые ноги. На хлипкие ветки берёзки прислонили сырые ботинки. Перед ними на озере представала какая-то нереальная картина. Посередине озера, задрав нос, с обрубленными лопастями, неподвижно застыл остов гидросамолёта. Точнее, передняя часть самолёта. Хвостовой части АН-2 не было. Она лежала полузатопленной метрах в пятидесяти от кабины. Вокруг неё по озеру медленно бродили три человека. Они иногда наклонялись, запускали в воду руки по плечи, что-то доставали со дна озера, брели дальше.

Через пару часов командир и парни подошли к костру. У каждого в руках было по выючной сумке с обнаруженными находками.

- Ну, что?

Прежде чем разгружать сумы, командир сообщил, что Игоря они оставили на берегу, прикрыв брезентом. Обнаружить удалось не так уж и мало. Из продуктов, кроме оставленного на противоположном берегу баула с галетами, извлекли мешок с сухарями, ящик сливочного масла, несколько банок тушёной говядины. Даже извлекли шесть стеклянных, чудом, не разбившихся банок консервированного борща. Коробку сгущённого молока. Рассчитывали, что найдут ещё что-нибудь. Но и этих продуктов, при экономии, может хватить на неделю. А через два три дня их наверняка найдут и вывезут...

Очень обрадовались найденной палатке - можно будет от непогоды укрыться. Три спальных мешка - тоже не лишние. Огорчались, что не выловили никакой посуды - ни кастрюли, ни казана, ни чайника.

- Там, на берегу, - командир кивнул в сторону противоположного берега, - оставили пару брезентов, чей-то рюкзак, ещё кое-какое барахлишко. Сапоги мы с Игоря сняли. - И жёстко добавил: - Живым они больше пригодятся. Теперь у нас четыре пары сапог с длинными голенищами.

Все молчали.

- И давайте, мужики, переобувайтесь: скоро темнеть начнёт. Побродите ещё часок, поищите. Извлекайте всё, что найдёте. Пригодится. И колья для палатки прихватите. Они там, на берегу. Будем палатку на ночь ставить...

Через час все собрались у костерка. Алёшину с ребятами удалось обнаружить чугунный казан и семилитровый чайник. Прихватили рюкзак. Колья для палаток приспособили для подвешивания казана и чайника над костром. Заварили пару банок борща, бросили в казан банку говядины. Мисок не было. Поэтому борщ остудили и пили по очереди, через край, извлекая, из казана, импровизированными «вилками» из веток берёзки густое содержимое. Сухари не сэкономили. Пока. Рюкзак оказался Игоря. Кроме личных вещей в нём обнаружили фотоаппарат, и пять пластмассовых футлярчиков с фотоплёнками.

На ночь установили палатку. Песчаный склон изрыт песчовыми норами, - растяжки закрепили на валунах. На пол палатки бросили подсохший брезент. На нём раскинули три влажных спальных мешка. Уснули, не раздеваясь, тесно прижавшись, друг к другу. Ночью уже было прохладно.

Утром, часов в одиннадцать, услышали - или показалось! - далёкий гул самолёта. После обеда где-то далеко на востоке вновь был слышен отдалённый звук.

- Самолёт? Самолёты? Нас ищут?

- Думаю, нас будут, скорее всего, разыскивать по трассе строго на север. Ведь мы пошли к геологам, - поделился вечером командир со всеми. - Так записано в полётном листе. Будут тщательно осматривать местность по пути маршрута, особенно все озёра. Конечно, подсядут к вам в лагерь, - обратился он к Алёшину. - Слетают и к геофизикам. Но ведь никому в голову не придёт искать нас далеко в стороне и от геологов, и от геофизиков... Мы же по кривой шли к геофизикам. Так что, пока тщательно прошерстят всю полосу полёта до геологов, пройдёт пять-семь, а то и десяток дней. И уж потом начнут расширять территорию поисков...

- Ого! - воскликнули все хором.

- А сколько километров до лагеря геофизиков? - спросил вдруг Борис.

Второй пилот внимательно посмотрел на него и, ни слова не говоря, потянулся к планшету. Раскрыл карту.

- Мы вот тут, - указал он на голубую точку маленького озера.

- А вот ваш лагерь, - ткнул пилот грязный палец в крестик на карте. - Так что до вас, до вашего лагеря, километров шесть-десять, шестьдесят пять...

- Не так уж и далеко, - пробормотал Борис, - за день по болотам не дойдёшь, а за пару дней можно.

Второй пилот вновь пристально осмотрел Бориса.

На другое утро солнце ещё не взошло, как из палатки один за другим потянулись парни.

- Чёрт! Комары зажрали! А холодина! - посыпались восклицания.

- Смотрите-ка, песцы вон бегают! Да вон, на том берегу озера, - указал командир. - Не... - он быстро присел и стал натягивать резиновые сапоги. - Идём! Кто-нибудь за мной, быстрее! Алёшин!

И они торопливо побрели к противоположному берегу.

- Ты думаешь... - начал было Алёшин.

- Я знаю! - обрубил командир. - Быстрее!

Песцы, увидев приближающихся людей, привстали на задние лапы, какое-то мгновение осматривали их, и вдруг стремительно прыгнули в сторону песчаного холма - к норам, огибая озеро.

- Я должен был это предвидеть! Столько лет летаю в тундре! Да, трусливые они, эти песцы! Любопытные, но трусливые! Подумал, люди рядом, побоятся они от нор бегать. А у них же щенки сейчас подрастают. Голодные они. Вот и...

Всю эту скороговорку командир высказал торопливо, подходя к трупу. С Игоря был стянут брезент; они увидели обезображенное лицо. Песцы сильно обглодали тело...

Алёшин всхлипнул и отвернулся. Лицо командира стало суровым. На сжатых челюстях забегали побелевшие желваки. Несколько минут оба молча стояли над останками жуткого тела.

- Держись, Алёшин, - наконец тихо промолвил командир, - живым живое. Надо продолжать жить.

От тихого голоса и простой фразы «надо жить», Алёшин очнулся. Взглянул на тело Игоря.

- Помоги, Виктор, переплавить Игоря на тот берег, к палатке. Там и погребём, пока нас не найдут.

Они сняли брезент, перекатали тело на него, и медленно побрели по озеру к палатке. С помощью кольев и какой-то дюралевой стойки, выломанной в разбитом самолете, общими усилиями рыли яму с полметра глубиной, пока не уткнулись в тысячелетнюю мерзлоту. В яму, рядом с палаткой опустили Игоря; закидали тело мхом и накрыли брезентом.

Со дня аварии прошло четыре дня. Откуда-то издалека, с востока иногда доносились звуки, похожие на гул самолётов. Ребята жгли дымные костры. Но их не замечали. И хотя в лагере ещё не голодали, у людей накапливалось раздражение. И страх. Страх, что их никогда не найдут. Ночи становились всё холоднее. Уже пролетал снежок. Приближался сентябрь.

На пятый день за полуголодным завтраком Борис неожиданно вызывающе высказался.

- Всё! Нас не найдут. Пока есть силы надо идти к лагерю геофизиков. Ты говоришь, - он обратился ко второму пилоту, - до него шестьдесят километров?

- Может быть семьдесят, - ответил пилот.

- За два дня можно добраться. Завтра надо выходить. Кто пойдёт со мной?

- Пожалуй, я пойду с тобой, - вызвался Яков.

Все на время затихли.

- Ну, что ж, я - за, - первым откликнулся командир.

- Я - тоже, - присоединился Семён, второй пилот.

- Парни - они молодые, за пару дней точно добредут, - согласился механик.

- Махрой мы вас снабдим, - сказал командир. - Спичками тоже.

- Возьмите компас Игоря, он медный, не расколете, - предложил Виктор.

- Продуктишками их надо снабдить, - озаботился Алёшин. - Ножи не забудьте.

- Давайте-ка мы сегодня ревизию кормов наведём, - высказался Роман. - Пока они до геофизиков доберутся - будем считать два-три дня. Да когда к ним самолёт заглянет. Может быть три-пять дней, а то и больше... Так что узнают о нас суток через десять. На это и надо рассчитывать, и продуктишки растянуть бы на эти дни.

- Прогуляюсь-ка я вокруг озера, - объявил Алёшин, - пока вы тут ревизию наводите. Вдруг чего выловлю...

С продуктами разобрались быстро. Решили, что при экономии их может хватить на десяток дней. Для оставшихся в лагере четырёх человек.

Часа через два вернулся Алёшин. Он загадочно улыбался.

- Ты чего лыбишься? - спросил Роман. - Нашёл чего?

- Никогда не догадаетесь! - Алёшин вынул из-за пазухи пластмассовую литровую бутылку.  
 - Спирт! - воскликнул Борис. - Это его в лагерь везли. Мы всегда спирт держим в таких бутылках, чтобы не разбились, и в многодневные маршруты легче носить.

- Ура! - завопили все одновременно.

- А из чего его пить-то? - спросил Виктор. - Не из горла же!

- Из футлярчиков из-под фотоплёнки, - нашёлся Яков. - Ну, те, что нашли в рюкзаке Игоря. Как раз грамм по тридцать-сорок будет. Чего его разбавлять..?

Этот день и вечер были, пожалуй, и самыми счастливыми, и самыми памятными из той сумеречной череды дней и ночей, которые пришлось пережить участникам минувшей драмы.

Поднимали пластмассовые стаканчики за погибшего Игоря. Пили за всех, чудом оставшихся в живых. С пластмассовым стуком сдвигали импровизированные рюмки со спиртом за начальников эскадрилий и руководителей экспедиции - чтобы они быстрее нашли их, геологов. Пили за надежду. Может быть, это и кощунственно, - но они искренне поднимали чарку и за Всевышнего - что Он спас их души. За неожиданное выживание пригубили ещё раз, - это после рассказов Алёшина о некоторых случаях почти мистического спасения в его жизни. Выход из этих безнадежных ситуаций можно было объяснить только Божьим вмешательством.

Это был последний вечер общего единения и людей, и мыслей, и надежд. Позже, значительно позже это время подернулось пеплом забвения, многими годами разобщённости, наступлением старости и страшными общими усилиями забыть - вычеркнуть из жизни этот эпизод жуткого прошлого.

И вот сейчас, когда Алёшин решил рассказать о пережитом, он не обвиняет в умолчании ни одного из участников того трагического времени. Да и сам он за долгие годы ни разу не проговорился о той катастрофе. Почему? Страх. Страх за семью, за детей, за внуков. Все они дали тогда подписку о неразглашении. Надо ли напоминать, какие это были годы в советском государстве? И он просит прощения у каждого из тех свидетелей, кто ещё остался в живых, и кому вдруг попадётся на глаза эта исповедь, за вновь причинённую боль воспоминаний, которые он вызвал своим повествованием.

На следующее утро после завтрака, Борис и Яков собрались в поход. Уходящим рабочим отсыпали галет, сухарей с расчётом на три дня. В чистую рубашку из рюкзака Игоря завернули полкилограмма масла. В рюкзак кинули две банки тушёнки. Семён вынул из своего планшета карту стотысячного масштаба, указал на ней точку лагеря геофизиков и назвал точный азимут, по которому следует идти.

- Ни в коем случае не отклоняйтесь от азимута, - напутствовал летчик. - Тундра здесь в основном плоская, километров за пять шесть увидите белый флаг на шесте. Это и будет лагерь геофизиков. Ваш лагерь. До него шестьдесят пять, шестьдесят шесть километров. Я уточнил. За пару дней добредёте. Озёра не пересекайте, даже мелкие. Обходите. Бывают карстовые озёра. Нахлабаетесь.

- Парни, при ночлеге выбирайте песчаный холм. Ночуйте с западной или южной стороны: песок за день прогревается. У меня тут капелька жидкости от комаров осталась: возьмите.

- Я их провожу вот до той возвышенности, - предложил Алёшин. - До неё километров двадцать. И вернусь. К вечеру...

- Ну, давайте прощаться, - встали парни. - До встречи. Пока. Скоро увидимся.

Все по очереди обнимали ребят, похлопывали их по плечам, по спинам.

С Алёшиным не прощались. И никто не предполагал, не предчувствовал, что с уходящими рабочими все видятся в последний раз...

*Продолжение следует...*

**Геннадий Гончаров.** (Россия) Канберра.



**Нет, друзья не там,** где за столом  
 Друг за друга тосты возглашают.  
 Дружба там, где заслонят плечом,  
 Где последним делятся рублем  
 И в любых невзгодах выручают...

**Эдуард Асадов**



*Жизнь - это  
 очередь за смертью,  
 только некоторые  
 лезут без очереди.*

# Саломея

Приключения, почерпнутые  
из моря житейского.  
Александр Фомич Вельтман.

(Начало см. № 54)

Продолжение...

## КНИГА ТРЕТЬЯ

### Часть седьмая

#### II



Благородное собрание в Москве, если не восьмое, так по крайней мере девятое чудо света. Представьте себе огромную залу с колоннадой, поддерживающей хоры; представьте себе, что вся она штукатурена под белый каррарский мрамор, что между всеми колоннами висит по бронзовой люстре в двести свеч, разукрашенной хрустальной бахромою; что все это и бело и светло и что в этой белизне и свете - шесть тысяч персон, эссенция древнепрестольного града. Представьте себе мужчин в полной военной, статской и светской униформе, а женщин в бальном наряде - шейки и ручки по плечо наголо. У каждого наружность, как сам он, разряжена: взору щедро придано огня, устам улыбки, щекам румянцу, движениям ловкости, всему стану достоинства, важности, значения. Всё рисуется, все как живописные, как портреты, схваченные в счастливую минуту - когда душа выливается наружу. Вот съехались к полуночи, все не ходят, а как-то особенно двигаются, соблюдая приличие, не смотря смотрят, не слушая слушают, не говоря говорят и - не любя любят...

Во всем этом, может быть, нет ни радости, ни удовольствия, но есть развлечение - это необходимое для светского человека развлечение, это искусственное средство наполнить чем-нибудь пустоту времени и пустоту души.

Из всех шести тысяч персон тут только двое наслаждаются в душе каким-то райским наслаждением - Василий Игнатьич Захолустьев и супруга его Фекла Семеновна. Счастливая чета ходит под ручку. Он - седые волосы в кружок, гладко-прегладко расчесаны, борода - волос от волоса отделен, на плечах древний боярский кафтан с золотым шитьем, с петлицами, меч с темляком перепоясывает не просто талию, но огромное депо здоровья и благоденствия. Она - в обшитом золотым кружевом гарнитуровом платье, которое спереди как следует приподнялось, на голове повязан золотошвейный платок, в ушах серьги бурмицкого зерна, на шее жемчужное ожерелье ниток в пятьдесят, пальцы расперло от многоценных перстней. У Василия Игнатьича покраснелось лицо и от самодовольствия и от жару; с трудом ворочая голову, подпертую шитым воротником, он отирает пестрым платком чело свое; из приличия не ворочает ее на стороны; взор его как навесный выстрел направлен через головы, чтоб кого-нибудь не задеть. Фекла Семеновна также не ворочает головой; но зато глаза ее как на пружинах - то вправо, то влево.

- Что, Фекла Семеновна, хорошо? ась? - произносит тихо Василий Игнатьич, проходя по опустевшему углу галереи между колоннами.

- И, Господи, как прикрасно! - отвечает Фекла Семеновна, - да что ж это такое, для чего господа-то собрались?

- Вот, спрашивает; ты смотри да примечай.

- Да уж у меня и глаза разбежались! Когда ж это они присядут? Ах, смотри-ко, смотри, что это сбежались все в кучу? Что там случилось? Пойдем посмотрим!

- Не приходится идти туда; знай честь. Вот посмотрим отсюда.

- Что ж это там, пляска, что ли?

- Тс! а ты смотри себе да примечай.

В первый раз Бог привел Василию Игнатьичу и Фекле Семеновне быть в собрании, как же не подивиться всем диковинкам.

- Василий Игнатьич, - начала снова Фекла Семеновна, - если б Прохорушка был здесь, он, чай, также пошел бы в танцы?.. то-то бы посмотрела!

- Ну-у! - отвечал Василий Игнатьич.

- Что, ну! Он, чай, не хуже господ - не тех вот, что в кавалериях, а вот этих штатских...

- Тс! что ты это! - сказал Василий Игнатьич, толкнув супругу свою под бок.

- Поди-ко-сь, слова нельзя сказать! - заговорила Фекла Семеновна под ухо мужу, - легко ли, добро бы я говорила про господ великих; а то, смотри ты, про эту голь слова не скажи! Вот он, тут же, писаришко-то, что тебе бумаги ходит писать... да поругался с тобой - мало, вишь, дал ему на чай...

- Где, матушка, где ты тут нашла писаришку?

- Да вот он, вот трется около благородных-то... Вот, увидел тебя...

- Пьфу, в самом деле! Пойдем, пойдем! Осрамит еще, мошенник!

Надо сказать правду, что богатство и почести не по наследию и не даром достались Василию Игнатьичу; он нажил их трудом - не с умом, а с грехом пополам. И потому, как ни поверни, Василий Игнатьич - с одной стороны, как будто честный человек, богач, а с другой - старый плут, точно нищий, и не далеко ушел от того Васьки Игнатова, который лет сорок торговал в деревне бабками, потом служил в харчевне и угощал пьяных вместо вина винным запахом. Он и продолжал бы карьер свой по винной части, но судьба решила иначе. Его соблазнила чайная торговля. Он узнал, что, кроме китайского ван-сун-чо-дзи, есть русский Иван-сун-чо-дзи и стал торговать чаем, завел магазин китайских чаев, сахару и кофе.

Сахар и кофе - дрянные продукты, от них барыша десять-пятнадцать процентов. В сахарный песок можно бы подбавить самого лучшего белого песку, да не тает, окаянный! Про кофе и говорить нечего: ни один род бобов не подходит к нему.

Нужно ли говорить, что мелочная торговля чаем не удовлетворила Василья Игнатова. Он пустился в оптовую, пустился сам на Кяхту; сам съездил в Дмитровский уезд, чтоб сделать оптовую закупку самого лучшего сорту Иван-сун-чо-дзи. Но для оптовой торговли чаем необходимо иметь свой дом, с запертыми воротами, на дворе лабазы, амбары, палатки и тому подобные заведения. Всем этим обзавелся Василий Игнатьич.

В производстве Иван-сун-чо-дзи помогал ему только сынишка Прохорушка.

- Это, - толковал он ему, - вот видишь: цветы чайные. А вот это лучший сорт; а вот это - похуже; а вот как смешаешь того и другого, да вспрыснешь цветами, так и выйдет цветочный. А без цветов - семейный. А как приложишь щепоточку, так выйдет сквозничок... Понимаешь?

Таким образом, можно заключить, что эта торговля была впрок Василью Игнатьичу. Он подумал, подумал да купил за двести тысяч каменный дом, для постройки которого какой-то князь выписал из Италии архитектора; из Голландии - кирпич, из Англии - железо, из Франции - обои и мебель, из Саксонии фарфоровые вазы, еще из Италии картинную галерею и этрусские горшки, из Египта двух сфинксов на ворота, из Венеции - гондолу для пруда, из Китая киоск для сада, и т.д. Словом, с целого света стащил тьму чудес. Все это стоило миллионов десять. Когда князь кончил жизнь, сын его, не получив в наследие ни вельможества, ни причуд вельможеских и не заботясь, откуда что папенька выписал и что ему все это стоило, тотчас же решил сбуть весь драгоценный хлам итальянского вкуса с рук и завести скорее всё рококо. Дом показался ему глуп, мебелировка стара, масляные картины слишком замазаны и закоптели, и - вследствие этого обитель вельможи, со всей ее обстановкой, за двести тысяч поступила во владение Василья Игнатьича.

- Ну, что, Фекла Семеновна, какво? - спросил он у жены, проходя по комнатам купленного дома.

- И, Господи, как прикрасно! - отвечала она, - позову в гости Домну Никитишну, то-то, чай, подивится.

- Позови, позови. Да ты смотри, примечай: ведь все шелк, а не ярославка...

- Да шелк же, шелк.

- Кахменные-то статуи черт знает что, я их в сарай велю снести али в сад поставлю; а вот золоченые-то по углам - хороши: из залы-то я их в гостиную...

- Что ж это у них в руках-то - словно вербы?

- А тут все шкалики ставятся, вот примером, как в люминацию.

- Ух, страсти какие! На стенах все люди! А на потолке-то! Ох, страм какой! Нет, Василий Игнатьич, вели замалевать: словно выпарилась, да в передбаннике отдыхает... и лебедя из рук кормит... экой соблазн!

- В самом деле, - сказал Василий Игнатьич, смотря на потолок, в котором вставлена была мастерская картина, изображающая Леду, - пришло же в голову намалевать такую вещь!

- Да я в этом покое ни за что бы одна не осталась, право! Мне все бы казалось, что на стенах-то живые люди: того и гляди, что вот этот бросится со шпагой да убьет. Христа ради, вели замалевать, да и то еще я буду бояться. Велел бы совсем щекатурку сбить, да снова ощекатурить..

- Щекатурка! Тут не щекатурка, а обои: смотри-кось, тканье али вязанье, кто их знает?

- Ох, ты! Знает толк! Это шитье по канве...

- Ааа! Вот вишь ты; бывают же такие случаи, что и бабий ум пригоден. По канве шитье!

Чай, ведь дорого взяли вышить во всю стену-то? Чай, ста по два за стену?

- И уж! Как дашь свою шерсть, так рублей за двадцать швея сработает. Чай, видал ты в лавке у Трофима Кириловича подушки шитье? Из его шерсти берут по два с половиной; а работа-то не такая, а мелкая.

Рассмотрев таким образом гобелены, Василии Игнатъич с Феклой Семеновной обошли весь дом, выбрали для жилья себе задние комнаты, где была гардеробная и жил камердинер. Входя в особую картинную галерею, новый хозяин вскрикнул:

- Вот славная кладовая будет у меня! Тут картины-то, верно, лишние развешаны: я их сбуду. Да и всё дрянь какая-то: капуста намалевана, разная овощь да птица разная...

- Звери-то, звери какие! - вскричала Фекла Семеновна, - коровы-то, коровы! Тьфу ты, окаянная! Вели ты, пожалуйста, выкинуть эту срамоту, да поскорей бы призвать батюшку со святой водой.

Обрадовался Василий Игнатъич и величине бывшего манежа:

- Вот, - говорил он, - лабазов мне не нужно строить: готовый! да какой славный будет...

Поселясь в белокаменных палатах, Василий Игнатъич тотчас же потщился принести пользу казне; не собственно для пользы казны, а для получения звания именитого гражданина. После этого необходимо было подумать и о сыне Прохорушке - отдать в коммерческое училище. Сын Прохорушка был малый со способностями: он тотчас перенял и тон и манеру богатых купеческих сынков, которые в свою очередь переняли тон и манеру от юных конторщиков-негоциантов... с тою разницею, что этим напели еще в пеленках:

«Смотри, mon enfant или mein Kind, ты в конторщиках веди себя честно и трудолюбиво, копи деньги. Сколоти капиталец, приютись сперва к кому-нибудь в компанию: глядь, со временем сам будешь негоциантом, понимаешь? Следуй вкусу людей, угождай вкусу и прихотям людей, а с своим вкусом и прихотями не суйся. Ja, mein Kind, надо копить богатство: богатство - великая вещь! Когда накопишь значительный капитал, тогда можешь жить по своим прихотям: можешь завести комнатки три чистеньких, свою кухарку, свою собственную конфорку для кофею или шоколаду, и даже патэ-фруа и бутылку вина для приятелей. А до тех пор показывай вид, что ты сыт. На чужой счет вместо завтрака хоть обедай, а на свой счет - вместо обеда - только завтракай. Даром - ничего, никому и ни для кого. Потому что: за что ж даром давать? И кто ж даром дает?»

На Руси подобных наставлений купеческим сынам не дают, потому что на Руси коммерция не наука, а свободное искусство; успех и обогащение зависит не собственно от расчета, но от талану. У Прохорушки нисколько не было талану наживать, а, напротив, вдруг развился талан проживать нажитое отцовское. Василью Игнатъичу очень понравилось, что Прохорушка смотрит не купеческим сынком, а чем-то... тово! Фекла Семеновна не могла на него нарадоваться,

- Смотри-ко, вот дал Бог нам сынка: настоящий господин! Да еще и лучше! - говорила она всегда, любуясь на сына своего.

- Нече сказать, залихватский сынишко! - говаривал и Василий Игнатъич, - да, тово... боюсь, офранцузится!

- Поди-ко-сь! Уж так ведется у господ. Так не отставать! Господа-то знают получше нас, что делать; да и невесты-то теперь всё ученые, словно француженки. Вот, примером, у Селифонта Михеича дочь, Авдотья Селифонтьевна: все мадеумазелью величают. А уж как она, голубушка, переняла по-господскому-то манежиться? Перетянута вся в рюмочку! Извелась, бедная; а хорошо! Как начнет: «Мама, мама!» - «Что, дитятко?» - «Мне что-то дурно!» - «Отчего же, дитятко?» - «Так!» - «Как - так? За обедом в рот ничего не взяла, как не стошниться? Ты бы чего-нибудь покушала». - «Но!» - «Ничего не вулз?» скажет и Марья Ивановна по-французскому. - «Но!» И, Господи, какая вели-катная! Куда уж ударить за что-нибудь! Слово скажи с сердцем, так так голубушка и упадет без памяти! Вот бы невеста-то Прохорушке!

- И на струменте играет?

- Играет! Уж как играет-то! Пальчики словно взапуски бегают!

- Ну, ладно, так я не продам струмента, что в зале-то стоит...

- Не продавай!

Таким образом поговорили, поговорили, да и решили, что быть так. Оставалось Прохору Васильевичу кончить только науку. По летам он уже был годков двадцати, по наружности - просвещение прикинуло ему несколько годков, и цвет лица его был матовый; по статьям он был до учения малый ражий, но когда изучился, то несколько похудел и вытянулся.

Покуда отец и мать выжидали времени и часу, чтоб женить Прохорушку, он успел поизбаловаться. Отец осерчал было на него за забранные без спросу у приказчика Трифона и промотанные деньги, но Фекла Семеновна убедила, что нельзя же молодцу не погулять. Успокоила пословицей, что женится, пере-женится, и принялась закидывать невод на Авдотью Селифоньевну. Дело шло изрядно, да на беду - заболела бедная Фекла Семеновна. Бывало, от засорения желудка поест редечки с кваском - и все снова ладно; бывало, простудится - сходит в баню, выпарится хорошенько да натрется медом с солью, - и снова как встрепанная. Но, поразнежившись в боярском доме на господскую статью, нельзя уже жить и быть по-прежнему, все делать попросту: господа лучше знают, что угодно господской натуре. Прохорушка же особенно озаботился, чтоб его тятенька и матушка не ударили лицом в грязь; он их учил, как все ставить на благородную ногу. Не только редька, обычное лекарство Феклы Семеновны от засорения желудка, но даже орехи и сырая репа, - до которых она была страстная охотница и которыми прежде засоряла желудок, - вывелись из употребления. Вместо четверика репы и мешка орехов, - надо же было по привычке грызть, употреблять что-нибудь благородное! - и вот Фекла Семеновна заменила их фисташками и каштанами. Они подействовали как нельзя лучше; без доктора облагороженный желудок и не думал переваривать фисташек и каштанов.

- Надо призвать доктора, тятенька, - сказал Прохорушка.

- Поди-ко-сь, доктора! - сказал Василий Игнатьич, - доктора-то кусаются!

- Что ж, умирать мне прикажешь, что ли? - простонала Фекла Семеновна.

- Выпила бы рюмочку водки с перцем, так и все бы прошло. А то еще, доктора!

- Как это можно, тятенька. Я позову Степана Кузьмича, - сказал Прохорушка.

- Что, тятенька! Небось я не знаю, как они морочат людей? Приедет, расшаркается, подержит за руку, да высунит ему язык как дурак, а потом взял да написал записку в аптеку - и давай ему красную ассигнацию! А в аптеках-то что? Не я, небось, отпускал в аптеки-то спирт? Подкрасят его чем-нибудь, вот-те и лекарство... Уж, брат, знаем!

- Умори, умори меня! - прикрикнула снова Фекла Семеновна.

- Да по мне, пожалуй, бросай деньги на аптечную настойку! Наживал, наживал, а тут возьми да и кинь!

- У меня есть приятель, отличный медик, тятенька, он ничего не возьмет; после можно ему будет подарить фунт хорошего чаю...

- Ну, за вылечку, пожалуй, и фунта два дадим китайской уборки.

Юный медик, приятель Прохорушки, явился в спальню к Фекле Семеновне. Сначала она пришла в ужас, увидев перед собой молодого человека.

- Что ты это, батюшка - какого ты молокососа ко мне привел? Это, верно, ученик докторской? - прикрикнула она было на сына; но он уверил ее, что наука и опытность наживаются не постепенно, а гуртом.

Хотя молодой медик следовал не русской пословице, - «век живи, век учись», - но он убедился долговременным употреблением искусства над желудком Феклы Семеновны, что действительно *ars longa, a vita brevis*. Желудочные деятели Феклы Семеновны пришли в недоумение от фисташек и от каштанов, подняли тревогу: «Это что такое? - Это черт знает что, а не репа! Пусть кто хочет варит эту дрянь, а мы не будем ее варить!» Бывало, бунт прекращался редькой, и все от боязни редьки принималось снова за работу; но когда вместо горькой редьки прибыла в желудок подслащенная венская микстура и стала уговаривать желудочных деятелей немецким наречием, они отвечали ей: «Извольте сами варить, сударыня, немецкие продукты!» - и отправились в голову жаловаться Фекле Семеновне, что вот так и так, дескать, посылают нам сверху черт знает что. Фекла Семеновна, вместо того, чтобы по старому обычаю приложить к голове кислой капусты, в свою очередь пожаловалась медику, что вот так и так - голову смерть разломило! Медик не долго думал; тотчас же употребил решительное средство: обложил голову льдом, к ногам синопизмы, к животу катаплазмы, - всполошил всех жизненных деятелей, забросались они во все стороны, бегут жаловаться в голову, а в голове уж пожар, - плохо! И медик видит, что плохо.

- Надо, - говорит, - сделать консилиум.

- Что такое значит это, сударь? - спрашивает его Василий Игнатьич.

- Созвать докторов на совет.

- Эх вы, сударь! Спалили дом, да собирать совет, как из головешек вновь его построить!

- Я чем же виноват? - сказал обидевшийся медик.

- Чем? Уж вестимо, что ничем: где ж вам пальцем искру тушить! Поехали за трубой!

Несмотря на отца, Прохор Васильевич собрал нескольких медицинских известностей, по желанию приятеля своего, который хотел, чтоб авторитет медицины подтвердил, что он употребил все известные средства, предписываемые наукой, для восстановления здоровья Феклы Семеновны, и нисколько не виноват в том, что они не помогают.

Известности явились, по призванию, перед смертным одром Феклы Семеновны. Посмотрели на нее, подтвердили болезнь, понюхали лекарства, похвалили методу лечения и потом стал совещаться на латинском языке:

- Что, как вы находите?

- Да что ж тут находить?

- Конечно. Черт знает, от чего и чем лечил он ее.

- Теперь уж все равно.

- Конечно. Чем вы кончили вчера игру?

- Ничем. Это что за новое лицо, медик? Вы знаете?

- Гм... Кажется, гомеопат.

- Предложите ему, чтоб он взялся ее поднять из гроба.

- В самом деле, не худо бы испробовать лечить гомеопатией.

- Я сам так думал, - сказал молодой медик, лечивший Феклу Семеновну. - Гомеопатия владеет средствами сверхъестественными.

- Нисколько не сверхъестественными, - отвечал затронутый гомеопат, - может быть, так думал Ганеманн, но мы так не думаем.

- Во всяком случае, мне кажется, что гомеопатия есть такая метода, которая уничтожает необходимость в медиках.

- Это почему?

- В ней так положительны признаки болезней, так положительно действие лекарств, что каждый может лечить и лечиться по руководству.

- Но для руководства нужно познание.

- Какое познание? Нужны только опыты над самим собою: принять, например, белладону; в таком-то делении она произведет все признаки жабы; в другом - все признаки различных родов сыпи - и довольно: *similia similibus curantur*.

- Позвольте, господа, я уверен, что Ганеманн не изобретатель гомеопатии; он только воспользовался русской поговоркой: «чем ушибся, тем и лечись». Например: похмелье есть лекарство от расстройства, произведенного опьянением.

- Да, положим, что это и так, - сказал гомеопат, затронутый аллопатом, - но во всяком случае аллопатия сбилась с пути: вместо того чтоб помогать природе изгонять из себя вкрающуюся постороннюю силу, возмущающую ее, она насилует самую природу.

- Извините! В человеке две природы: инстинктуальная и натура привычек. Натуру привычек должно насиловать, потому что она есть то зло, которое рождает вред.

- Извините! Привычки истекают из развития самой природы и из ее потребностей; и потому нет другой природы.

- Извините! Стало быть, нарост есть развитие самой природы?

- Без всякого сомнения; мнимое зло было уже в корне, в самом семени: каждый член организма может выйти из границ своего предназначения, по вкравшемуся влиянию наружных сил.

- Извините! Оно просто благоприобретенное или, лучше сказать, прививное.

- Прививное? Извините! Никогда! Черт его прививал.

- А зараза? Не прививное зло?

- И не думало быть прививным! Это опять-таки не что иное, как внешнее влияние на развитие какой-нибудь внутренней частной силы.

- Прекрасно! Это новость!

- Нисколько не новость! Отнимите внешнюю, или постороннюю силу, вкрающуюся в организм, и зло прекращено; но не трогайте самого организма, он не виноват. На этом и основана гомеопатия.

- Поздравляю!

- Нечего поздравлять. Так действует сама природа, так действует само провидение, сберегая организм государств. Представьте себе, что внешняя сила вкралась в организм как Наполеон в Египет; но явился другая воинственная сила - англичан, Египет бы преобразовался в новую жизнь. Здесь что? Честолюбие противоборствует честолюбию, слава славе, жажда к преобладанию - подобной жажде. Да, конечно, вы даже любви не изгоните ничем кроме как любовью. А знаете ли, как действует аллопатия? Как турки: чтоб обессилить неприятеля, вошед-

шего в их землю, они все выжгут, обратят весь край в степь, выгонят жителей, словом, уничтожат страну...

- Извините! Вы говорите так, потому что не понимаете аллопатии!

- Нет, очень понимаю!

- Нет, не понимаете!

- Нет, очень понимаю, и знаю, что грубость также принадлежит к системе аллопатии!

Слово за слово, у аллопатии с гомеопатией чуть-чуть не дошло дело до аргументов фактических. Василий Игнатьич и сын его стояли в ожидании, чем решится совещание.

- О чем же, сударь, такой горячий спор у них? - спросил Василий Игнатьич у молодого медика.

- Они рассуждают, какое употребить решительное средство для помощи Фекле Семеновне.

- Ох, помоги, Господи, наведи их на разум.

После долгого, жаркого бою на словах аллопат отвернулся от гомеопата.

- Что, сударь, решили? - спросил Василий Игнатьич.

- Решили; я сейчас пропишу.

- Что ж, они говорят, что Фекла Семеновна встанет?

- Конечно.

- Ну, уж если так, то я не пожалею ничего! Так она выздоровеет?

- Я надеюсь.

- Да что мне ваша надежда? Я за нее ни копейки не дам. Вы мне скажите наверно.

- Я вам наверно говорю.

- Вот это дело другое. Вот шестьсот рублевиков серебром. Рассчитывайтесь с ними.

- Очень хорошо. Вот рецепт; скорей пошлите за лекарством.

- Ладно. Проща, ступай, брат. Пошли, да скорее, слышишь?

- Слышу! - отвечал, уходя бегом, Прохор Васильевич.

- Батюшки, родные, отцы мои! Фекла Семеновна, матушка! Отходит! - вскричали вдруг в один голос две старухи, сидевшие около Феклы Семеновны.

- Что такое? - вскричал Василий Игнатьич, вздрогнул и бросился к постели жены.

- Ох, отдает Богу душу! Умирает! Матушка, Фекла Семеновна! - завопили снова старухи.

- Ох, что вы это говорите! Фекла Семеновна! Голубушка моя! - завопил Василий Игнатьич, припав к жене. - Господа доктора! Помогите! Ох, помогите! Что хотите возьмите, только помогите! Степан Козьмич! Где ж он? И доктора-то ушли! Бегите за ними, они, чай еще не уехали..?

- Э, батюшка, Василий Игнатьич, какая уж помощь...

- Догони, догони их, матушка Василиса Григорьевна! Догони!

Старая Василиса Григорьевна поплелась торопливо в переднюю, но и след консультантов простыл. Степан Козьмич также исчез как привидение.

Таким образом кончила жизнь Фекла Семеновна. После первого времени горя и печали Прохор Васильевич ни с того ни с сего вдруг стал упрашивать отца, чтоб дозволил завести ему суконную или филатурную фабрику.

- Э, нет, брат, - говорил ему Василий Игнатьич, - фабрика - пустое дело; торгуй-ко ты чаем, как отец, это повернее, да и повыгоднее.

- Нет, тятенька, уж прошли те времена; сами вы знаете: сколько кипрею-то в Москву-реку свалили.

- Правда, что не те времена. Да право, фабрика - пустое дело. Вот Иван Козьмич обанкрутился...

- А отчего обанкрутился: сам дела не знает, а полагается на прикащиков да на выписного мастера. Нет, уж я не так дело поведу: я сам поеду за границу, сам все узнаю, сам куплю машину. Меня уж не надуют.

- Пустышь ты говоришь.

- Ей-ей, тятенька, нет. Да вот - извольте посмотреть, как идут дела у Савелья Ивановича! А отчего? Оттого, что он сам ездит за границу.

Василий Игнатьич нерешительно отнекивался. Ему самому принаскучила уже чайная фабрикация. У самого в голове уже было завести филатурную фабрику. «А что, - подумал он, наконец, после усиленных просьб сына, - кажется, из него будет толк, да, верно, и талант есть, - во сне видит филатурную фабрику. Дать ему капитал, пусть себе заводит как знает: недаром в науке был».

Как поехал Прохор Васильевич в путь за немецкими самопрялками и что с ним приключилось, то будет впереди; теперь скажем только, что он уехал...

## III

Проходит с полгода - ни слуху ни духу о Прохоре Васильевиче.

«Верно, замотался!» - думает Василий Игнатьич. Проходит еще несколько времени.

- А что, брат Трифон, - говорит Василий Игнатьич своему приказчику, - Прохор-то пропал! Как быть?

- Обождите, Василий Игнатьич, - не близко место: Англия-то, чай, ведь за морем. Теперь скоро надо ждать не самого, так письма.

В самом деле, на третий день явился какой-то Соломон Берка, комиссионером от сына. По письму следует выдать ему в счет уплаты за машины и за комиссию перевоза их - пятьдесят тысяч.

Деньги выданы. Время идет да идет, а Прохора Васильевича нет как нет. Василий Игнатьич горевал, горевал, да и горевать забыл.

- Ну, верно, толку не будет из него; пропали только денежки!

А между тем приказчик Трифон Исаев, вскоре после выдачи комиссионеру Прохора Васильевича, поссорился с хозяином и отошел от него. В Москве явился какой-то чайный комитет. Не до сына Василию Игнатьичу.

В это-то смутное время доложили ему, что какой-то чиновник приехал. «О, Господи, - подумал Василий Игнатьич с ужасом, - верно, беда пришла! Боюсь я мошенника Тришки!...»

- Проси, проси покорнейше!

Чиновник вошел.

- Вы Василий Игнатьич Захолустьев?

- Покорнейше прошу, сударь, садиться; покорнейше просим, сделайте одолжение.

- Скажите, пожалуйста, у вас есть сын?

- Как же, сударь, в чужих краях теперь, поехал заводить филатурную фабрику, - отвечал Василий Игнатьич, вздохнув свободно.

- Давно ли вы от него имеете известия?

- А что, сударь? Вот уж более полугода... Бог его знает, что с ним сделалось, - сказал Василий Игнатьич с новым вздохом.

- Я привез вам о нем сведения.

- Какие же, сударь?

- С ним случилось маленькое несчастье при возвращении его в Москву...

- Несчастье? О, Господи! Верно, он болен, или... ох!... боюсь подумать!

- Не бойтесь, несчастье не так велико: должно полагать, что шайка мошенников сговори-лась его ограбить, и достигла этого. А между тем его же по подозрению взяли в городскую полицию...

- В полицию! Ох, страм какой! Батюшка, сударь, где ж он теперь?

- Не тревожьтесь, пожалуйста. Ему самому совестно своего положения, и потому он скрывал свое имя и мне только за тайну объявил его.

- Где ж он, сударь, где ж он?

- Он теперь в остроге.

- Ох, осрамил мою головушку!

- Не тревожьтесь, я вам говорю; это все может кончиться без огласки; он взят только по наговорам, и потому его отдадут вам на поруки. Я обо всем распорядюсь, и вам стоит только дать поручительство, что действительно такой-то, содержащийся по подозрению, ваш сын.

- О, Господи, чем мне вас благодарить!

- Мне не нужна ваша благодарность. Я исполняю свой долг. Ах, да! Там содержится также бывший ваш приказчик - кажется, Трифон Исаев...

- Был, был у меня этот мошенник.

- Мошенник?

- О, бездельник такой, какого свет не производил!

- В таком случае, о нем ни слова. Чтоб скорее решить дело, поезжайте теперь же со мной.

Василий Игнатьич отправился куда следует свидетельствовать, что содержащийся неизвестный в остроге, показывающий себя сыном его, действительно единокровный сын его, Прохор Васильев Захолустьев.

В тот же день ввечеру квартальный явился к смотрителю острога с приказанием выпустить неизвестного на поруки почетного гражданина Василья Игнатьева Захолустьева. Смотритель велел старосте привести его к себе.

- Эй, ты, безымянный! - крикнул староста, подходя к Дмитрицкому.

- Что тебе? - спросил Дмитрицкий.

- На выписку!

- Неужели?

- Ну, брат, смотри же! Держи слово честно! - шепнул рябой острая борода, известный нам Тришка.

- Смотрю! - отвечал Дмитрицкий.

- То-то... А не то, брат... Знаешь?

- Знаю!

- Да помни урок, что твой тятенька-то не тово...

- Не бойся!

Дмитрицкий отправился за старостой к смотрителю; квартальный взял его под расписку и отправился с ним в дом Василья Игнатъича.

- Как же это так вы изволили попасть в тюрьму? Сын такого почтенного человека, - начал квартальный беседовать дорогой.

- Что ж делать! - отвечал Дмитрицкий, - ужасный случай! Счастье, что еще не убили.

- Каким же это образом случилось?

- Как случилось! Подробностей - как и где - я вам не буду рассказывать. Тут не просто шайка разбойников действовала. Представьте себе, что меня опоили чем-то, кругом обобрали, заковали как преступника, и я очнулся в тюрьме. Потом вывели на очную ставку с какой-то женщиной, которая доказывала, будто я вместе с ней грабил! Просто сон! Я по сю пору очнуться не могу!

- Удивительное дело! - сказал квартальный. - Что ж, вы подадите просьбу?

- Просьбу! Мне шепнули, что если я задумаю искать, так чтоб заживо велел отпеть себя...

- Удивительное дело!

Удивление продолжалось до самого подъезда к огромному дому, у которого ворота были заперты. Насилу достучались.

- Кого надо? - спросил дворник.

- Иван, это ты? - крикнул Дмитрицкий.

- Кто спрашивает?

- Не узнал!

- Да кто такой?

- Ну, отпирай! - крикнул Дмитрицкий.

- А вот я доложу Василью Игнатъичу.

- Отпирай! Не узнал Прохора Васильевича...

- Ой ли? Ах ты, Господи!

Дворник отпер калитку и отступил перед квартальным.

- Здорово, Иван!

- Прохор Васильевич!

- Беги, скажи скорей тятеньке.

- Бегу, бегу!

Дворник убежал вперед, а квартальный с Дмитрицким пошли по темной лестнице.

- Куда ж тут, вправо или влево? - спросил квартальный, - вам известнее.

- Да тут такая темнота, что я не знаю, где право, где влево.

Но навстречу неожиданным гостям вышел в сени кто-то со свечкой в руках.

- Пожалуйста-с! - сказал он, освещая путь чрез переднюю в маленькую залку.

- Где тятенька? - спросил Дмитрицкий.

- А вот пожалуйста, пожалуйста в гостиную.

«Егор Лукич это или Антип Григоръич? Или ни тот, ни другой? - подумал про себя Дмитрицкий. - Что он меня не величает?»

- А где ж Егор Лукич?

- Они, сударь, на ярмарку поехали, а я покуда вместо их, - отвечал приказчик, ставя на стол свечку и кланяясь гостям.

- То-то, я вижу, не узнаешь меня.

- То есть, как не узнаю-с, с позволения доложить, батюшко?

- Да так, не узнал меня. Ты у тятеньки, верно, недавно?

- Ах, Господи! Мне и невдогад! Простите, батюшко, Прохор Васильевич, не оставьте своими милостями... Недавно, сударь, недавно...

- Как по имени и отчеству?

- Евсей Савельев, сударь, Прохор Васильевич... Ах, да вот и Василий Игнатъич!
- Тятенька! - вскричал Дмитрицкий, бросаясь на шею к вошедшему старику, которого седые волосы подстрижены были в кружок по-русски, лицо рыжевато-красное, глаза подслеповатые, сюртук до полу.
- Постой, постой, брат Прохор! Постой! С тобой, брат, мы еще рассчитаемся!
- Тятенька! - повторил Дмитрицкий, сжав еще крепче в объятиях своего старика.
- Да убирайся, говорят! Эка, задушил. Покорно прошу, извините, что шелопаи мой побеспокоил вас, - сказал Василий Игнатъич, обращаясь к квартальному.
- Мне велено только отдать вам с рук па руки.
- Покорнейше благодарю. Такой казус произошел, что стыдно сказать! Ты ступай, брат, в баню сейчас, благо затоплена; обмой грехи-те свои, а потом я тебя попарю... слышь? - крикнул Василий Игнатъич сердито и не обращая глаз на мнимого сына.
- Пойдем, Евсей Савельич, - сказал Дмитрицкий.
- Пойдемте, пойдемте, батюшко.
- Да, пожалуйста, спроси чистое белье; да тут платье мое должно быть старое.
- Покуда Василий Игнатъич побеседовал с квартальным, попотчевал его чаем и отпустил с благодарностью за доставку сына, Дмитрицкий возвратился из бани, разгоревшись, причесав волоса, как следует скромному купеческому сыну, и облеченный в английский сюртук из гардероба Прохора Васильевича.
- Тятенька! - вскричал он снова, бросившись на шею старику.
- Эх ты, брат, отделал себя! В два года лет десять положил на кости! Смотри-кось, то ли ты был? Смотри-кось на портрет-то свой! А? Ну, рассказывай!
- Дмитрицкий сел подле Василья Игнатъича, закрыл глаза рукою и молчал.
- Что молчишь-то? А? Экова балбеса уродил, а толку мало! Где девал деньги-то? А? Говори! Машины-то привез? Фабрику-то завел? Эка отличная фабрика! Напрял ниток с узлами, ай да сынок!
- Тятенька, если б вы знали, какая беда, тово... случилась со мной! Такие мошенники! Надули меня...
- Надули? Не морочь, брат!
- Ей-ей, тятенька! Хоть образ со стены сниму! Я заказал машины в Англии, половину денег вперед отдал. Сперва водили, водили с полгода: «все еще не готовы», говорят. А тут вдруг пропал мастер. Я подал прошение, а мне говорят, что такого мастера в Лондоне нет. «Что мне делать, - думаю, - тятенька меня убьет».
- А сколько денег-то вперед дал?
- Пятьдесят тысяч.
- Фалелей, Фалелей! Да ты, брат, пошлый дурак!
- Что ж делать, тятенька, там такое заведение.
- Пьфу! Пятьдесят тысяч! Ну, а сто - где?
- Что пятьдесят тысяч, уж пропадай бы они; да вы извольте послушать...
- Ну! Эх ты, брат - и голос-то прогулял, и рожа-то, как посмотришь, словно чужая...
- Что ж делать! Несчастье за несчастием. Поневоле не будешь походить на себя! Вы извольте послушать. С мастером-то сделал я условие, а не просто заказал ему. Да и на деньги... Нет, тятенька, все по форме. Да кто ж знает, что там и в судах-то мошенничают заодно! Условие было писано по-английски, а я по-английски не знаю. Как подал я прошение, а ко мне вдруг полиция: «Это ваша подпись?...» - «Моя...» - «Так заплатите долг господину Джону Пипу». - «Какой долг?» - «Вот по этому заемному письму в пятьдесят тысяч». - «Как, заемное письмо? Это условие по заказу машины с мастером Джоном Пипом: пятьдесят тысяч следует уплатить по получении и отправлении машин в Москву. А он не только не сделал машины, да еще и скрылся сам». - «То, может быть, другое условие, - сказал полицейской, - а это заемное письмо на имя Джона Пипа. Извольте платить или идти за мною!». Я так и обмер! Вот, тятенька, как обманывают там, не по-нашему...
- Ай да! Ну, как же ты отделался?
- Я боялся писать к вам, тятенька, правду, и просил только о присылке денег...
- Телячья голова! Да лжешь, брат, ты...
- Ей-ей, тятенька, что мне вам лгать? Я просто упал бы в ноги, да попросил бы прощенья. Я вез к вам это мошенническое заемное письмо; да ведь вы знаете, что со мной случилось на дороге и как меня посадили в тюрьму.
- Нет, не знаю. Рассказывай. Остальные-то прогулял?
- Как это можно, тятенька! Я за два года прожил на себя только триста рубликов!

- Ой, лжешь! Этого и на чай не достанет. Что ж, небось, там и чай-то дешевле, а?
- Чай? Да там чай-то пить нельзя - там вместо чаю-то черт знает что продают!
- Ой ли? Что ты говоришь?
- Ей-ей! Да это ужас и подумать. Вместо чаю там ерофеич продают. Пьфу! Такая гадость, я в рот взять не мог...
- Неужели? Ах, собаки! Что ж, цельная копорка, что ли?
- Э! Да я бы и копорскому чаю так обрадовался, что я вам скажу!
- Неужели? Что ж, уж будто так-таки и ни листочка китайского?
- Ни листочка! Говорю вам, что просто набор разных трав: доннику, васильков, бузины, листу черной смородины... Ну разных, черт знает, каких!
- Да что ж полиция-то смотрит?
- Полиция? Полиция там в торговые дела не мешается: что хочешь продавай, надувай как душе угодно...
- Что ты говоришь?
- Ей-ей!
- Скажи пожалуйста! Нет, вот у нас, брат, не то...
- Да что ж, тятенька, чаем-то и торговать, если не поразбавить его копоркой. Важная вещь: осымушку прибавить на фунт. Оно же и пользительно, потому что, уж если правду говорить, так китайский-то чай целиком вреден. Вот недавно один ученый написал книгу, что китайский чай - сам по себе - все равно что опиум. А опиум-то - медленный яд.
- Неужели?
- Ей-ей!
- А вправду, ведь от цельного китайского - страшная бессонница. Я это по себе знаю. Я как-то всегда не любил цельный китайский; с копоркой-то как будто помягче...
- Да вот что я вам скажу: отчего, вы думаете, у господ по ночам пиры, балы да банкеты? Оттого, что у всех у них бессонница от настоящего китайского чаю...
- А что ты думаешь, в самом деле: ведь цельный-то только и идет что к господам.
- Да как же, пей-ко они хоть пополам с копорским, ходили бы на людей. А то что: тени, в голове только дурь. А отчего? От китайского чаю.
- Ей-ей, так! - сказал Василий Игнатьич.
- Да как же, - продолжал Дмитрицкий, - припомните, тятенька: цельный, китайской укладки чай пили только самые большие господа - князья да вельможи. У них только по ночам и пиры были. А теперь, как стал всякой шушера распивать настоящий китайский чай, так и не спится ему: завели картеж по ночам, да попойку, да музыку, пляски... все с ума сходят от бессонницы. А что будет, как все скажут: подавай, брат, мне настоящего, с подмесью-то я не хочу!
- Ох, да ты, брат, штука стал. Прохор! Говоришь как пишешь, любо слушать! Жаль полтора ста тысяч. Да я, брат, и рад, что не завел ты фабрику. Ты слушай меня: торгуй чаем! Ей-ей, прибыльнее фабрики.
- Слушаю, тятенька, во всем вас слушаю, - отвечал Дмитрицкий, - уж как я буду торговать чаем, так извини: у меня китайский пойдет только на подкраску.
- Нет, брат Прохор, этого нельзя: теперь, брат, за этим смотрят, понимаешь?
- Смотрят? Да мы со зрителями как-нибудь уживемся.
- Нет, брат Прохор, прошли золотые времена...
- Зато теперь, тятенька, мишурные времена. Бывало, озолотят человека, а теперь обмишурят, вот и все.
- Э, да ты, брат, голова, Прохор!
- Вот, например, меня как славно обмишурили.
- Ах, да! Расскажи-ко, как же тебя ограбили на дороге?
- А вот как, тятенька: еду я из-за границы... Уж я вам всю чистую правду скажу...
- Ну, ну, ладно, говори.
- Еду я из-за границы, да думаю: беда мне будет от тятеньки: «Врешь, брат, скажет, прогулял деньги!» Как быть, такой страх берет, что ужась; как показаться на глаза? Пстой-ка, думаю, попробую счастья в карты, не выиграю ли?
- Ах ты собака! В карты играть! Да я тебя, брат, знаешь?
- Да ведь это, тятенька, я с отчаяния.
- Ну, добро.
- Приехал в Киев; а там большая игра ведется, и я тово...
- Ах ты собака! Проиграл и остальные?

- Какое проиграл! Выиграл сто тысяч деньгами, да разных вещей тысяч на пятьдесят, да коляску...

- Ой ли? Ах ты, Господи! Ну..?

- Как выиграл, радехонек! Еду себе да думаю: «Слава тебе, Господи, капитал сполна привезу тятеньке, да еще и коляску в подарок...»

- Ну, где ж она?

- А вот послушайте: обыграл-то я одного графа Черномского...

- Графа? Скажи пожалуйста! Врешь, брат, куда тебе с графом играть!

- Ей-ей, тятенька, я обманывать вас не буду. Да, вот что надо вам сказать: как обыграл я его, так он и потребовал, чтоб я опять играл с ним. А я говорю ему: «Нет, ваше сиятельство, покорно благодарю, мы и тем довольны». - «Так не хотите играть?» - «Не желаю, ваше сиятельство». - «Не хотите?» - «Не могу; мне надо ехать». - «Ну, хорошо же! - сказал он: - постой, дружок, постой, не уйдешь от меня!» Я думаю себе: небось, не уйду, так уеду, поминай как звали! И тотчас, не мешкая, поехал. Кажись, скакал на почтовых день и ночь, да не ушел от этого проклятого... Черномского. Уж я знаю, что это он со мной штуку сыграл: верно, подкупил моего слугу. Он, верно он, тятенька! После уж мне в голову пришло, да поздно.

- Да какую же штуку он с тобой сыграл?

- А вот какую: приехал я в один город; остановился в гостинице. С дороги потребовал себе чаю; напился... и вдруг что-то замутило меня - так все и ходит кругом: голова, как чугунная, отяжелела; как сидел я на лавке, так и припал без памяти. Что ж думаете вы, тятенька, где я очнулся?

- Ну, ну, брат, говори! Ах, мошенники, верно зельем каким опоили тебя?

- Да уж, верно, так! Очнулся я - кругом темно, кто-то душит меня да кричит: «Воры, воры!» Господи, - думаю, - что это такое? Сбежался народ, полицейские, городничий. «Вяжи его! - кричит, - вяжи мошенника!» Взяли да и скрутили руки назад. У меня со страху язык отнялся. Привели в какую-то сибирку, да и бросили на нары, вместе с колодниками...

- Ах, сердечный!

- Да, тятенька, уж я плакал-плакал всю ночь, до самого утра. Поутру повели меня к допросу. «Кто ты такой, мошенник?» - спросил меня городничий. «Не извольте так обижать честного человека; вот мои бумаги, а в гостинице экипаж и слуги, - сказал я. Хвать в карман, за пазуху: ни бумаг, ни денег! Я так и затрясся. «Ах ты, Господи! - крикнул я, - ваше высокоблагородие, меня ограбили!» «Не прикидывайся, любезный! Знаем мы вашу братью! Говори, кто ты?» - спросил снова городничий. А я-то кричу: «Батюшки, обокрали меня, погубили!» - «Врет, ваше высокоблагородие, - сказал хожалый, - в гостинице никакой коляски нет; с вечера останавливался там какой-то граф, да чем свет еще уехал». «Так ты, брат, за графа себя вздумал выдавать!» - сказал городничий. Я так и обмер, и уж ничего не помню, что говорил и что со мной было. Больного представили меня сюда в Москву. Как сказали мне, что я в Москве, в тюремном замке... ой-ой-ой! Если б знали, тятенька, что мне пришло в голову: ну, - думаю, - не буду страмить ни себя, ни тятеньку, не объявлю ни имени, ни отчества; лучше наложу на себя руки! Так и решил было; да вот усовестил меня господин стряпчий; ему я и сознался во всем.

- Ну, брат Прохор, недаром ты переменялся! - сказал Василий Игнатьич, - как посмотрю я на тебя - совсем другой человек!

- Как не перемениться, тятенька, я сам чувствую, что я уж совсем не то, что был. Да если б вы знали, как я истомился! Все думаю: не признает меня тятенька родным сыном, проклянет, со двора сгонит...

- Ну, ну, ну, Бог с тобой! И виноватого Бог прощает. А ты ни душой, ни телом не виноват. Что ж будешь делать с мошенниками? Вперед, брат, и тебе наука: слушай отца!

- Виноват, тятенька!

- То-то, Теперь, брат, я тебя женю: так лучше дело-то будет. Невеста ждет не дождется тебя. Да ты не говори никому, что случилось с тобой. Просто скажи, что поехал за границу, да заболел... при смерти был, скажи.

«Вот тебе раз! - подумал Дмитрицкий, - мне уж и невеста готова!»

- Тятенька, мне надо еще окопироваться; у меня порядочного платья нет: нельзя же показаться невесте лодырем.

- Ну вот, платья нет! Чай, и денег-то ни копейки нет?

- Уж конечно, тятенька.

- То-то и есть... Кабы жил по-человечески, так все было бы. Ну, добро, ста рублей довольно будет на окопировку?

- Французская окопировка дорога, тятенька. А мне, право, жаль денег. Я и в стареньком платье съезжу, не велика беда! Не взыщут.
- Э, нет, брат, это уж не годится. Невеста не тово... не лохмотница. За ней также миллион будет.
- Ведь хорошо одеться очень дорого, тятенька. Того и гляди, что тысяч пять издержишь.
- Ой-ой-ой! Нет, брат, жирно! А ты все закажи русскому портному.
- Так уж лучше знаете что, тятенька?
- Ну, что?
- Мне фраки-то мочи нет как надоели! Такая нищая одежда, что совестно носить. Ведь как посмотришь, так нельзя не смеяться...
- Ну, нет, брат Прохор, господа-то лучше тебя знают, что пристойно, что нет.
- Господа? Право, господа-то ничего не знают! Отчего, вы думаете, немцы и французы стали носить фраки, а не кафтаны? Оттого, что у их кафтанов локти истерлись, а передние фалды обшмыгались, так они их совсем обрезали да рукава починили. С тех пор и вошли в моду фраки. Ей-ей, это по истории известно. Я, тятенька, лучше по-русски оденусь...
- Как по-русски?
- Да так, бархатное полукафтаные, шапочку-огулярочку... О, да как бы я нарядился! А на зиму кожух на соболях!
- Нет, Прохор, извини! По-русски-то не след уж тебе одеваться. Я, брат, и сам теперь уж не тово... а почетный гражданин на правах господских! Понимаешь?
- Понимаю, тятенька.
- То-то мне... Что господа! Сын мой не хуже какого-нибудь господчика! Господчику отец даст пять тысяч на окопировку, а мы десять дадим! Вот что!
- Покорно благодарю, тятенька. Право, мне жаль денег.
- Не твоя беда! Не жалеи! Уж в грязь лицом не ударим! Понимаешь?
- Понимаю, тятенька.
- То-то! Нам что: свадьбу-то мы сыграем такую, что держись только...
- Тятенька, невесте-то, чай, надо подарки свезти? Скажу, что из Парижа, все французское да аглецкое...
- Ой ли? Ладно! Купи французскую шаль. У нас, брат, славно теперь делают французские шали: словно настоящие. Рублей в двести такая, брат, шаль, что я тебе скажу!
- Кто ж французскими шальями дарит? Дарят турецкими, тятенька.
- Ну, как знаешь.
- Вот князь... как бишь его... подарил невесте в десять тысяч шаль.
- В десять тысяч! Ого-го!
- Я куплю дешевенькую, тятенька: тысячи в две, в три.
- Нет, брат Проша, уж прах ее возьми, куда ни шло! Мне что князь! Десять тысяч так десять тысяч! Ну, однако ж, пора ночь делить; ступай с Богом, спи.
- Покойной ночи, тятенька! - отвечал Дмитрицкий, облобызав Василия Игнатьича, и отправился в свою комнату.
- «Ну, - думал он, ложась в постель, - судьба славно распорядится моими делами. Пришло ли бы мне самому когда-нибудь в голову сделаться купеческим сыном, Прохором Васильевичем? Какая забавная вещь! Оно бы, казалось, не совсем благопристойно урожденному дворянину играть роль купчика, который в свою очередь играет роль дворянчика. Да что же делать, так судьбе угодно. Хуже, если б мошенник Тришка записал меня в свои сообщники: поди, разыгрывай роль вора и разбойника. Экой плут, экой негодяй! Принудил меня быть Прохором Васильевичем и жениться на его невесте! Экой бездельник! Да! Ведь надо еще упросить тятеньку взять его на поруки из тюрьмы да снабдить на первый случай двумя тысячами... Ну, утро вечера мудренее!»
- Дмитрицкий утонул в пуховой постеле, задремал; но смерть жарко! Перелег на канаве, обитое кожей, - смерть неловко! Стащил на пол перину и успокоился, наконец, на равендуке, которым обтянута была рама кровати, как в люльке. Заснул, и проспал допоздна.
- Василий Игнатьич несколько раз уже присылал за ним. Одевшись, он явился к нему, поздравили с добрым утром и облобызали три раза.
- Э, брат Прохор, какой ты стал! Ты совсем извелся!
- Ах, тятенька, знаете ли что? Ваш бывший приказчик содержится в тюрьме.
- Поделом ему, мошеннику!
- Он просит, чтоб вы взяли его на поруки,

- Я? Чтоб он сгиб там!  
 - Тятенька, ведь он меня узнал: он ведь расскажет всем, что я был в тюрьме.  
 - Гм! Нехорошо! Как же быть?  
 - Надо похлопотать, чтоб выпустили его на поруки; попросить господина стряпчего.  
 - Нехорошо! Ну, да нечего делать в таком случае. Только, брат Прохор, не проси, чтоб я его опять к себе взял. Ни за что!  
 - Чтоб я стал просить за мошенника! Тятенька, и не думайте этого.  
 - То-то! Ступай же, ступай. Вот тебе покуда пять тысяч.  
 - Покорно благодарю, тятенька.  
 - Да что, покорно благодарю! Ты сосчитай. А то, вишь, обрадовался. Ну, что - пять?  
 - Как раз пять.  
 - То-то! Ох, брат, как ты переменялся! Посмотрю я на тебя - совсем другой человек: и руки-то похудели, стали словно боярские; и ноги-то совсем похудели, как будто вполовину меньше. Какая у тебя нога-то была: с мою! А теперь...  
 - Это от парижских перчаток и сапогов; такие узкие, что Боже упаси. Так я поеду, покуда куплю готовое платье...

Очень естественно, что такой сметливый малый, как Дмитрицкий, не мог дурно распорядиться пятью тысячами. На них можно было одеться в павлиньи перья, не только что в какой-нибудь новомодный фрак со всеми принадлежностями. Через час Дмитрицкого нельзя было узнать. Когда он приехал в магазин, спросил самые лучшие часы и золотую цепочку, и сказал, что он покупает потому только, что, торопясь ехать с визитом, забыл свои дома, француз, - вопреки условиям гордости своей великой нации, - благоговейно посмотрел на него, и на вопрос «Что стоит?» не смел произнести обыкновенную Цену, но увеличил ее втрое, вчетверо. Словом, в соразмерность ощущаемого благоуважения к русскому барину.

- Ну, брат Прохор, - сказал Василий Игнатьич, осматривая его с ног до головы, - ей-ей, графчик, да и только! Кабы еще очки на нос надел, так во всех статьях.

- А вот они, тятенька, и очки.

- Ой ли, смотри пожалуй! Все дворянские ухватки! Ах, собака! Поди-ко ты, как невеста увидит, так так и ахнет. Поедем, поедем к ней! Я сам поеду с тобой... Смотри-ко-сь, и цепочка какая! А часы-то есть?

- А как же, тятенька! Вот они.

- Э-ге! Ну! А у меня, кстати, какие дрожки: на аглецких лесорах!

- Неужели, тятенька, мы в дрожках поедем с визитом к невесте?

- А что ж, велика беда: на чем приехали, на том и приехали. А впрочем, что ж... в самом деле, мы, пожалуй, в коляске махнем.

- Надо бы в карете, четверней, тятенька.

- Э-ва! Да это, в самом деле скажут, что его графское сиятельство приехал.

- Тем лучше, тятенька. Вам следует задать тону: вы не кто-нибудь такой... так, ничего, а почетный гражданин, миллионщик! Если захотите только, так вас в немецкой земле в археографы пожалуют и с большой печатью диплом пришлют.

- Что ты говоришь это, брат?

- Ей-ей, позвольте только мне распорядиться. Ведь это, тятенька, пустяки. Вам только стоит захотеть, так вас тотчас примут в почетные члены всех европейских академий и ученых обществ. А там уж до археографов недалеко...

- Эй! Вели у Колобашки взять четверку коней! - крикнул Василий Игнатьич, - да скорей, тово... А ты, брат Прохор, гиль несешь! За границей такой смелости набрался.

- Не дураком же возвратиться, тятенька; ведь там все наши учителя живут. Так вот, чтоб не терять время, я и высматривал, как там всякая скотина отращает себе крылья.

- Как я посмотрю на тебя - офранцузился, брат, ты совсем!

- Как же иначе, тятенька? Уж это такой народ: кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. В этом и вся штука.

- Сам ты, брат, штука! Ну, да добро, дело-то надо начать порядком: заслать к невесте-то Матвевну...

*(Продолжение следует)*

**Александр Фомич Вельтман.**

*Не бывает так плохо,  
чтобы не могло быть  
еще хуже.*



*"Ошеломляй и властвуй"  
(Лоренс Питер)*

## Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)



# Ранние грозы

*Ранние грозы*

*Продолжение*

(начало в № 60)

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ****XI**

Некоторое время спустя Марья Сергеевна снялась опять, вместе с Колей. Коля получился прекрасно, но ее карточка показалась ей такою неудачной и непохожей, что если бы не изображение Коли, она не взяла бы ее совсем. Ей ужасно хотелось, чтобы у Виктора Алексеевича был Колин портрет, но эту карточку она все-таки ему не отдала.

Дела у Виктора Алексеевича, наконец, закончились, и он решил уехать не позже, чем недели через две. На первое время он поедет куда-нибудь за границу, а вернувшись, проживет до осени в Одессе. Его всегда тянуло в этот город, тем более что и Гальская теперь там играла. Она несколько раз писала ему, зовя его к себе, и он сам был вовсе не прочь провести с ней эту зиму. Оставалось только распродать мебель. Он было принялся хлопотать об этом, но потом передумал. Во-первых, все это пойдет за бесценок, во-вторых, задержит его порядочно, а, главное, Марья Сергеевна ясно поймет тогда, что он, значит, уезжает совсем, и ему не избежать сцен, рыданий и объяснений. Может появиться на сцене даже и сам Павел Петрович. Лучше уверить ее, что он уезжает на время, ненадолго, по делам; сначала можно будет и писать ей для успокоения. Но и дело с мебелью устроилось очень удачно. Ему удалось сдать свою квартиру на год одному богатому приезжему провинциалу не только с мебелью, но и с лошадьми, кучером и лакеем Аристархом.

"По крайней мере, не продаю, - думал Виктор Алексеевич, - когда понадобится, опять все будет. Даже в материальном плане довольно выгодно". Сам он за квартиру платит двести рублей в месяц, а получать будет шестьсот. Оставалось только уехать более или менее спокойно, избегнув, по возможности, всяких "трогательных прощаний". Для этого он решил сказать о своем отъезде лишь накануне. По крайней мере, все эти слезы и расставания будут продолжаться недолго. Накануне отъезда он, действительно, приехал к Алабиным и был с Марьей Сергеевной любезнее обычного. За обедом он вдруг объявил, что вчера вечером получил телеграмму, вызывавшую его немедленно за границу по одному очень спешному и важному делу, и потому ему завтра же придется выехать туда... недели на три, а может, и на месяц...

Марья Сергеевна побледнела и от испуга уронила вилку.

- На месяц! - тихо повторила она за ним, и ей вдруг сделалось и страшно, и больно при одной мысли, что она не увидит его целый месяц. - Тридцать дней! Ужасно!

- Да, на месяц, - повторил он, спокойно разрезая кусок говядины и стараясь не смотреть на Марью Сергеевну. - Самое большее, на полтора. Дело. Я как-то говорил, кажется, если только вы помните... вы такая рассеянная. Дело Генеманов о наследстве с их германскими родственниками.

Но Марья Сергеевна ничего подобного не помнила, и если бы даже он действительно говорил ей об этом что-нибудь, то в эту минуту, под влиянием страха разлуки, она все равно бы забыла. Она резко замолчала и, сдерживая изо всех сил подступившие слезы, машинально и торопливо доела свой суп.

"Кажется, все пройдет спокойнее, чем я предполагал", - с удовольствием подумал Виктор Алексеевич и слегка приподнял голову, чтобы лучше понять, какое впечатление произвели его слова на Марью Сергеевну. Но ее лицо было низко склонено над тарелкой, и только по красным пятнам, заплывшим на ее щеках и шее, видно было, как она разволновалась.

Виктор Алексеевич хотел уже опять отвернуться, но почему-то, совершенно машинально, взглянул в сторону Наташи. Наташа глядела прямо на него, в упор, не сводя с него пытливого взгляда. Виктор Алексеевич слегка покраснел и быстро отвернулся от нее. Но в течение всего обеда он чувствовал на себе этот молча испытующий взгляд ее строгих глаз.

Марья Сергеевна торопилась закончить обед, боясь каждую минуту, что не выдержит и расплечется, и крепилась только из-за дочери, но, как только они встали из-за стола и Наташа ушла к себе, она быстро подошла к Виктору Алексеевичу и, положив руки ему на плечи, взглянула прямо в его глаза.

- Правда ли это, Виктор? - тихо спросила она, всматриваясь в его лицо. Она как будто все еще не верила этому, словно считала, что это он только шутил так.

Виктор Алексеевич слегка передернул плечами.

- Конечно, правда! С чего же мне лгать?

Марья Сергеевна, не убирая своих рук, положила на них голову и заплакала. Виктор Алексеевич нетерпеливым движением скинул ее руки со своих плеч и отошел к окну.

- Начинается! - раздраженно воскликнул он. - Так и знал: без мелодрам никогда нельзя обойтись! Сейчас же слезы, сцены, упреки, недостает только обмороков. Подумаешь, в Китай собрался. Уезжает человек на один месяц, а историй на десять лет! Удивительно.

Марья Сергеевна оправдывалась робким, неуверенным голосом. Какие же истории? Разве она что-нибудь говорит? Конечно, пускай едет, если это нужно. Но... это только немного тяжело ей, она так привыкла к нему...

Что же, из-за этой привычки ему по миру идти, что ли? Только чтобы она не отвыкала и не плакала? Ведь это из ряда вон, наконец! Что же ему - дела, что ли, все бросить? Пускай все гибнет - и дела, и карьера, и репутация, и средства, и сам он, потому что не она же ведь, конечно, будет думать и заботиться о том, на что ему жить и кушать! Виктор Алексеевич раздраженно кричал и сердился, не давая ей вставить ни одного слова, чувствуя, что так ему легче будет выиграть сражение и справиться с ней. Она испугается и скорее уступит ему, постаравшись обойтись без лишних вопросов, упреков и слез.

И Марья Сергеевна действительно оправдывалась, стараясь успокоить его и уверить, что она ничего не хочет и не требует, и никогда не позволит себе мешать ему в его делах. Пусть едет, куда нужно, она будет совсем спокойно ждать его, только бы он писал ей, и больше ничего она не просит. Она всеми силами сдерживала слезы и старалась говорить спокойнее и веселее, чтобы только не раздражать его и получше провести последний вечер. Виктор Алексеевич, убедившись, что все обошлось благополучно, смягчился и стал даже довольно любезен. Он обнял ее за талию и, прохаживаясь с ней по комнате, рассказывал о своих планах касательно отъезда и устройства дел за границей. Марья Сергеевна, обрадованная его переменившимся к лучшему настроением, с любовью, не спуская с него глаз, слушала его.

В его квартире, говорил Виктор Алексеевич, пока будет жить один его родственник. Он только на днях приехал из провинции и остановился у него. Ей лучше не бывать там пока; еще, пожалуй, столкнется с ним, - потом черт знает что будет рассказывать о ней везде. У него прегадкий язычок, а она, кажется, знает, как ему, Виктору Алексеевичу, бывает всегда неприятно и тяжело, если кто-нибудь двусмысленно отзывается о ней. Писать он будет прямо сюда, к ней.

- И, пожалуйста, - прибавил он с легкой тенью неудовольствия, - не сходи с ума по пустякам и не тревожь себя даром. В случае если писем не будет немного дольше, пожалуйста, не беспокойся: значит, что-нибудь мешает, дела какие-нибудь задерживают, разъезды... ну, мало ли что. Во всяком случае, не придумывай только ничего ужасного, все устроится и кончится прекрасно; я вернусь к тебе и к маленькому Коле, - заключил он с улыбкой, целуя ее в голову.

Она глядела на него глазами, полными слез, всеми силами подавляя в себе рыдание, но, несмотря на это, лицо ее улыбалось и сияло счастьем и любовью. Хотя она знала, что он завтра же уезжает и что она долго не увидит его, но в эту минуту она была почти счастлива. Он так редко баловал ее своими ласками, что малейшая из них радовала ее. Весь вечер он был с ней нежен и внимателен, а перед отъездом зашел даже вместе с ней в комнату Коли и поцеловал его на прощание в маленький лобик.

Она смотрела на них обоих, счастливая и растроганная, и на минуту неприятное чувство смущения и стыда охватило Виктора Алексеевича. Ему вдруг сделалось как будто жаль ее, и на мгновение мелькнула даже мысль: не остаться ли? И почему, зачем бросает он эту женщину, которая ничего не требует от него, ничему не мешает и только бесконечно любит его? Но Виктор Алексеевич сразу же постарался отогнать все эти сентиментальные мысли и не дал воли своим расходившимся нервам. "Иначе это затянется на всю жизнь!" - сказал он себе, и это ужасное "на всю жизнь" пугало его, придавая решимости...

Он уговорил ее не ездить завтра провожать его на вокзал: там будет один из клиентов, им нужно еще кое о чем переговорить. Но зато обещал заехать еще раз, проститься, если успеет.

Наконец он вышел в переднюю и накинул шинель. Марья Сергеевна еще раз горячо прижалась к нему и, приподняв свое облитое слезами лицо, несколько раз перекрестила его, шепча бледными, вздрагивающими от сдерживаемых рыданий губами тихую молитву. Виктор Алексеевич терпеливо стоял, не надевая шапки и слегка только наклоняя голову под ее крестами, а когда она закончила, он еще раз обнял ее и с большим чувством, чем ожидал сам, поцеловал ее. Она уже не сдерживалась и, растроганная еще больше его лаской, плакала, нервно всхлипывая и вздрагивая плечами, и ловила его руки, страстно прижимаясь к ним лицом и губами. Но хотя Виктор Алексеевич и дал себе слово не допускать никаких "трогательных сцен", в эту последнюю минуту у него не достало духу остановить ее, и, только молча улыбаясь ей какою-то жалкою и растерянною улыбкой, он торопливо и смущенно вышел на освещенную площадку лестницы.

Марья Сергеевна, вместе с выбежавшей в переднюю Феней, вышла за ним туда же и, облокотясь на перила, молча глядела ему вслед.

- До завтра... - вполголоса сказала она.

Виктор Алексеевич поднял голову и улыбнулся ей в ответ все тою же торопливою и смущенною улыбкой.

- Да, да, до завтра.

Когда дверь захлопнулась за ним и они вернулись в гостиную, Марья Сергеевна опустилась на первый попавшийся стул и расплакалась, уже не сдерживая своих рыданий.

- Господи! Феня... - говорила она между всхлипываниями, нервно ломая свои тонкие пальцы, - ведь на полтора месяца! Может быть, даже больше. Я как подумаю... Такая тоска, такая тоска!

Феня молча стояла перед ней.

- Да уж, чего веселого! - сказала она с каким-то раздражением. Ее лицо тоже слегка подергивалось и вздрагивало, и ей, при мысли, что Виктора Алексеевича не будет у них целых полтора месяца, тоже как будто хотелось плакать.

**ХII** Когда Виктор Алексеевич вышел на улицу, шел легкий, крутящийся в воздухе снежок, и лицо его опахнуло свежим морозным воздухом.

- Подавать, барин? - крикнул стоявший у подъезда извозчик.

- Не надо! - сердито отвечал Виктор Алексеевич.

Ему хотелось пройтись немного пешком, чтобы скорее успокоиться. На душе его было определенно нехорошо, как будто лежало неприятное ощущение какой-то гадости, которую он только что сотворил. "Во всяком случае, - думал он, плотнее запахивая шинель, - это тяжело, и даже тяжелее, чем кажется. Нет, конечно, больше уж никогда и ни одной серьезной связи в жизни. Право, гадко как-то..." Он остановился на минутку и, чиркнув спичкой, попытался закурить папиросу, прикрываясь шинелью от задувавшего ее ветра, но вдруг почувствовал, что кто-то коснулся его. Виктор Алексеевич обернулся и с недоумением оглядел какую-то небольшую женскую фигурку в шубке и в белом платке на голове.

- Пойдемте сюда... За угол... Пойдемте!

Она говорила нервным, сдавленным голосом и слегка тянула его за рукав шинели. Виктор Алексеевич плохо различал ее черты и почти не узнавал голоса, но, по неприятному и жуткому ощущению, вдруг охватившему его, он, скорее инстинктивно, догадался, чем узнал, кто это.

- Куда пойдемте? - заговорил он не то испуганным, не то сердитым голосом. - Вы, должно быть, с ума сошли, если вздумали вдруг по улицам ловить меня! Никуда я не пойду, и что такое вам вдруг понадобилось от меня, что вы мне в комнате не могли сказать, а изволите выбирать такое удобное место для разговоров? Отправляйтесь лучше домой. Никуда я не пойду.

- Нет, вы пойдете! Я не мама, слышите, не мама! Со мной нельзя так, как с ней. И если я вас зову, то вы пойдете, слышите? Должны идти! - шептала она задыхающимся и дрожащим от страстной ненависти голосом.

Виктор Алексеевич с удивлением смотрел на нее. "Черт знает что такое, этого только недо-ставало! - думал он. - И чего эта девчонка еще тут суется? - Он подозрительно оглядывал ее. - Уж не героиню ли она вздумала разыгрывать, еще, чего доброго, стрелять вздумает! Они все ведь нынче на этом помешаны!"

- Да нельзя ли тут объяснить мне, чего вы, собственно, от меня желаете, а не бегать по разным закоулкам?

- Нет, нельзя, тут народ, пойдемте в переулок, там никого нет.

Они стояли друг против друга у фонаря, свет от которого падал теперь прямо на лицо Наташи, и Виктор Алексеевич видел, как лихорадочно горели и переливались ее глаза какими-то дикими, злыми огоньками. "Черт знает что такое! - мысленно бранился он, - и как все это глупо!" Он положительно не знал, что ему делать, но на душе у него было как-то жутко и неприятно, а сознаться себе, что он боится ее, он не хотел - боится этой девчонки, ничтожной и бесильной, которую он, в случае чего, может пристукнуть одним пальцем! "Да, наконец, в квартире Алабиных нет ни одного револьвера, а купить не могла, ей не продадут..."

Наташа вдруг окинула его презрительным взглядом:

- Да вы не бойтесь! - проговорила она с такою насмешкой и отвращением, что Виктор Алексеевич даже вспыхнул. - Мне с вами только переговорить нужно.

- Это вас-то бояться? - захохотал он злым принужденным смехом. - Помилуйте, кто же это детей боится? Извольте, я с вами пойду, только нельзя ли поскорее закончить всю эту комедию ("мамашенькина страсть" - промелькнуло у него в голове), у меня времени нет, да и о вас мамаша будет беспокоиться.

- Мамашу оставьте, она не знает и не хватится. Мне негде больше было говорить с вами так, чтобы она об этом не узнала, потому я и выбрала улицу. Пойдемте.

Они двинулись в направлении первого же переулка и несколько минут шли молча, не глядя друг на друга. Наконец, когда они дошли до середины совершенно пустого и темного переулка, Наташа остановилась и взглянула ему прямо в лицо.

- Это правда, что вам нужно ехать? - повторила она вопрос матери.

Они обе догадывались, что он лжет, но Наташа понимала это ясно, тогда как Марья Сергеевна ощущала бессознательно, скорее сердцем, чем разумом.

- А вам какое же до этого дело? Это что, следствие, что ли?

- Нет, это не следствие, и мне нет до вас никакого дела. Это правда. Но "ей", понимаете, "ей", - она наклонилась совсем близко к нему, и все ее лицо задрожало от негодования, - ей есть дело! И потому-то я и спрашиваю, потому-то и хочу знать правду. И вы мне ее скажете! Понимаете? У нее никого нет, кроме меня: вы всех отогнали, а теперь делаете с ней что хотите! Благо она верит вам и любит вас! Но я - ненавижу вас. Не верю ничему, ничему, что вы ей говорите. Я знала, всегда знала, что вы лжете, все лжете. И теперь так же... Но я не позволю, понимаете, не позволю...

Она задыхалась от волнения и гнева. Два года таила и сдерживала она их в себе, щадя его ради матери, но теперь все чувство ненависти и озлобления, накопившееся в душе ее против него, вдруг как бы прорвалось наружу и захватило ее в бешеном порыве. Она вся дрожала, лицо ее нервно горело, и глаза сверкали такою злобой, что Виктор Алексеевич бессознательно отодвинулся от нее подальше. "Положительно, с ума сошла!" - тревожно мелькнуло в его голове, но, стараясь оправиться от жуткого чувства, он грубо оборвал ее:

- Ну, довольно! Однако вы, должно быть, совсем рехнулись! Можете отправляться домой и садиться за уроки, а я вам не мальчишка, и всякой девчонке читать себе нотации не позволю.

Он круто повернулся и хотел уже уйти, но Наташа опередила его и, быстро схватив его за руку, вцепилась в нее с судорожной силой.

- Нет, не довольно! - громко вскрикнула она. - Не довольно! И вы не уйдете, я не пушу! Вы делаете низости, а потом убегаете, и думаете, что никто ничего не смеет сказать вам... Ничего сделать с вами?!

Ее рука, с тонкими длинными ногтями, до боли впилась в его руку. Он попробовал отдернуть ее, но она еще крепче сжалась, не отпуская его.

- Пустите мою руку!

- Нет, не пушу. Вы скажете мне правду! Вы ее совсем бросаете, да?

- Да послушайте, вам-то, наконец, какое же дело до этого? Вы-то тут при чем?

- При том, что она моя мать! Понимаете, мать моя - жена моего отца! Вы отняли ее и у него, и у меня, и мне есть до этого дело. Я имею право требовать у вас отчета. И вы не смеете не дать мне его. Не смеете!

- Да ведь она вам маменька, а не вы ей, кажется. Что же вы-то хлопчете? Она и сама, кажется, не маленькая.

- О! Какой... - Наташа с отвращением прищурилась: - Какой вы подлец!

Вабельский вздрогнул и вырвал наконец свою руку. Ему хотелось поколотить эту девчонку, так смело кинувшую ему в лицо оскорбление. Но она стояла перед ним с выражением такого презрения и морального превосходства, такая смелая в своей правде и ненависти, что он только плотнее запахнулся опять в шинель, закрыв ею даже лицо.

Наташа, по-видимому, начала немного успокаиваться. Она уже не так дрожала и задыхалась, только ноздри ее слегка еще вздрагивали и трепетали.

- Это подлость, ужасная подлость, - заговорила она вдруг тихо, - что вы бросаете ее. Но это все-таки было бы счастьем для всех нас, если бы она только смогла перенести это. Но она не перенесет, это убьет ее. Я знаю. И потому-то я решила прийти сюда и поговорить с вами. Ведь вы тоже понимаете, что убиваете ее этим... И вам даже не жаль? Даже не совестно? Неужели вам не совестно - неужели можно делать такие вещи и не чувствовать себя подлецом?!

Она точно не верила в подобную возможность и пытливо глядела ему в глаза, как бы ища в них искры стыда и раскаяния.

- Вам не совестно? - тихо, с каким-то сожалением спросила она его опять, не спуская с него своих грустных строгих глаз.

Виктор Алексеевич молча, нетерпеливо передернул плечами и, скользнув взглядом мимо ее лица, еще глубже спрятал лицо в воротник шинели. Он положительно терялся, не знал, что ему делать, и если в его жизни были какие-нибудь скверные минуты, то хуже и неприятнее этой он все-таки не помнил.

- Если бы вы знали, как я вас ненавижу и как вы мне гадки, - говорила она, слегка вздрагивая от гадливого презрения, - вы бы поняли, как трудно было мне прийти сюда и говорить с вами, просить... - На мгновение она даже закрыла лицо руками, но тотчас же быстро отдернула их и заговорила уже тверже и спокойнее. - Но это необходимо, и я решилась. Если бы я была уверена, что это может вернуть нам всем прежнее счастье, я убила бы вас...

Виктор Алексеевич быстро поднял голову и тревожно оглядел снова ее руки и фигуру. "Ты, матушка, действительно на все, кажется, способна!" - сердито подумал он и, слегка отодвинувшись от нее, тревожно огляделся по сторонам, ища, нет ли где извозчика.

- Но это ничему не поможет, - с какою-то странною задумчивостью в глазах продолжала она, - это было бы только новым горем и для нее, и для отца. Я долго думала, как помочь. Но помочь никак нельзя. Теперь уже поздно. Ни папа, ни я счастливы уже не будем, что бы ни случилось. Но пусть хоть одна она... И потому я... решила просить вас: если возможно, не уезжайте... не бросайте! Ах, как гадко! Как гадко! - Вдруг страстно прервала она сама себя и снова закрыла руками еще жарче запылавшее лицо.

В конце переулка медленно ехал пустой извозчик. Виктор Алексеевич искося, стараясь делать это незаметно для Наташи, оглядывался на него.

- Я, право, не понимаю, - заговорил он вслух, слегка приободряясь при приближении извозчика, - о чем вы так беспокоитесь. Ничего и никого я не бросаю, еду всего на один месяц по делам. Ведь я говорил уже при вас...

- Да, говорили, только это неправда! Я знаю. Я уже давно поняла, что так все кончится. Я знаю: вы уедете, не станете даже писать. И тогда она поймет и не вынесет этого. Но... Хоть пишите ей! Хоть изредка! Она поверит и будет спокойна. Если у вас есть хоть капля жалости, сострадания, сделайте это. Сделайте. Разве не тяжело убить человека? Знать, что убили? Хоть ради вашей матери; быть может, вы любили ее... хоть ради нее! Сделайте, пожалейте. Но неужели же вы никогда никого не любили? Не жалели?

- Да, конечно. Конечно. Об этом нечего и просить. Конечно, - торопливо говорил Виктор Алексеевич. И, обернувшись, крикнул вдруг поравнявшемуся с ним извозчику, быстро откинул полость, вскочил в сани и, приподняв свою пушистую бровную шапку, слегка поклонился Наташе.

- Пошел! - крикнул он. - Да быстрее! И почему только я сразу не сел! - сердито сказал он себе. - Ничего бы тогда не случилось. Фу, черт! Ну, сценка, нечего сказать! Пошел, что ли, дурак! Скорее! Плетешься, плетешься, болван!

И, с сердцем толкнув извозчика в спину, Виктор Алексеевич беспокойно оглянулся назад, как бы боясь, что Наташа бежит за ним. Но ее темный силуэт виднелся уже далеко от него.

Она с изумлением и негодованием смотрела ему вслед, и когда он совсем скрылся из виду, она вдруг схватилась руками за голову и крепко сжала ее. Ей было мучительно стыдно, больно, и она все сильнее и сильнее стискивала зубы, как бы заглушая какую-то острую боль. «Ах, как гадко, как гадко!» Слезы крупными каплями катились из ее глаз, но она не замечала и не чувствовала их. Одно ощущение сильного стыда и унижения наполняло ее. О, лучше бы уж совсем не ходить! Чему она помогла, что сделала? Разве она не знала, какой это подлец! Да, да, он прав: она глупая, ничтожная девчонка, которая не понимает сама, что делает. Зачем, зачем она унижалась, просила, чуть ли не умоляла его? Чтобы он же издевался над нею?! Боже мой, Боже мой, зачем же, зачем! А Бог... Неужели и Он не покарает его? О, мама, мама, что ты сде-

лала, что сделала... и с собой, бедная моя, и с нами?! И она, рыдая, прислонилась к фонарному столбу.

**XIII** Шел четвертый месяц с тех пор, как уехал Виктор Алексеевич. Марья Сергеевна начинала уже не на шутку волноваться и беспокоиться. Она получила от него несколько коротких писем, но они были и слишком редки, и слишком лаконичны для того, чтобы всерьез успокаивать ее. По ним она едва могла понять, где он, здоров ли и что делает. Но больше всего мучило ее то, что она сама не могла писать ему, как бы ей того ни хотелось. Виктор Алексеевич, судя по письмам, постоянно переезжает из города в город, и, не зная наверняка его адрес и местопребывание, Марья Сергеевна посылала свои письма по догадкам, наудачу, не будучи даже вполне уверена, дойдут ли они до него. По сложившейся уже у нее привычке прощать ему все, она и теперь не решалась упрекать его за то, что письма его были так редки, зная по опыту, что всякие упреки только сильнее раздражают его. И даже в душе она не сердилась, стараясь, по своему обыкновению, оправдывать его и перед другими, и перед собой, уверяя, что он страшно занят делами, разъездами, а потому писать ему некогда. Но, хотя письма от него приходили очень редко, ждала она их каждый день. При каждом звонке она вздрагивала и чутко прислушивалась к голосам в передней, думая: "Не письмо ли!" И в тех редких случаях, когда Феня действительно входила с письмом, Марья Сергеевна быстро вскакивала с кресла, бросала все, что у нее было в руках, и, бледная, задыхающаяся от волнения, дрожащими руками выхватывала у Фени письмо. Но в первую минуту она не могла разобрать ни слова. Буквы прыгали и сливались у нее перед глазами, сердце в груди рвалось и замирало, и иногда, прежде чем прочесть, она должна была даже выпить стакан воды, чтобы хоть немного успокоиться. Зато успокоясь, она всегда перечитывала письмо по нескольку раз кряду, пока не заучивала его наизусть. Тогда она звала Феню и, вся сияющая от восторга и радости, прочитывала и ей письмо вслух, снова повторяя по нескольку раз те его фразы и слова, которые более других нравились ей и трогали ее, как бы для того, чтобы и Феня поняла и прочувствовала их лучше и глубже. Таких фраз, в сущности, было немного, но Марья Сергеевна умудрялась отыскивать их между строк и прочитывала его сухое письмо таким нежным голосом, что оно действительно казалось как-то ласковее и любезнее. Весь этот день и несколько следующих Марья Сергеевна была весела, счастлива, добра, и даже болезнь ее вдруг как бы совсем проходила. Зато в последующие две-три недели, когда писем не было, болезнь эта делалась еще заметнее и мучительнее, чем в любое другое время. Марья Сергеевна жила в постоянном напряжении ожидания и тоски, и это окончательно подрывало ее и без того уже расшатавшееся здоровье. Доктора запретили ей даже продолжать кормить маленького Колю, на которого ее молоко, из-за ее волнения, действовало очень плохо. Для Марьи Сергеевны это было новое лишение и мука. Кормить Колю своей грудью было ей каким-то блаженным наслаждением и отказаться от него ей было тяжело и трудно. Для ребенка было бы полезнее взять здоровую деревенскую кормилицу, но Марья Сергеевна, в своей страстной ревнивой любви к нему, не хотела об этом и слышать. И Колю перевели на рожок, тем более что ему шел уже девятый месяц, и его уже можно было понемногу отлучать от груди. Но ребенок сначала страшно тосковал по материнской груди, плакал, капризничал и в первое время даже болел. Марья Сергеевна мучилась и волновалась вместе с ним, но, боясь потерять его, выдерживала характер и не давала ему груди. Все последнее время она чувствовала себя гораздо хуже, а вечная тревога и беспокойство о невозвращении Виктора Алексеевича еще больше расстраивали и ухудшали ее здоровье. Последнее письмо от него она получила откуда-то из Швейцарии, и не могла понять - зачем он туда поехал, а Виктор Алексеевич, не объясняя причин, писал только, что, может быть, ему придется ехать и еще дальше. О возвращении не упоминалось ни слова. С тех пор прошло больше месяца, а новых писем и известий никаких больше не было. Марье Сергеевне еще ни разу не приходилось так долго не получать от него писем; большею частью они приходили раз в три недели. Теперь же кончалась пятая, и с каждым днем тревога и тоска Марьи Сергеевны усиливались. Целыми дня она ждала и прислушивалась к звонку - не идет ли почтальон. Каждый раз, увидев идущего по двору почтальона, она менялась в лице и порой выбегала даже на лестницу. Но, убедившись, что он проходит мимо и звонит к кому-нибудь из соседей, она бледнела, и судорожное рыдание сжимало ей горло.

После каждого нового разочарования она делалась еще апатичнее, теряла аппетит и сон, а если и засыпала, то продолжала все так же мучительно волноваться и во сне, в котором ей грезились почтальоны, слышались звонки и казалось, что "он" приехал и звонит в дверь. И сновидения эти были так живы и реальны, что часто Марья Сергеевна даже просыпалась, быстро вскакивала с постели и, с тяжело бьющимся сердцем, долго еще вслушивалась в ночную

тишину, ожидая, не повторится ли звонок, почудившийся ей во сне. Но звонок не повторялся, все было тихо, все спали, слышалось только хриплое присвистывающее дыхание старухи-няньки, спавшей в соседней комнате, да иногда пищал спросонок маленький Коля. Марья Сергеевна опять тоскливо опускалась на подушки, и порой, охватываемая жгучею тоской, начинала невольно плакать. Временами с ее глаз как бы спадала завеса, и она начинала понимать истину. Но ужас и отчаяние, нападавшие при этом, были так мучительны, что она в страхе старалась насильно возвратиться к прежней вере и надежде. Она не хотела поверить в то, что подсказывал ей здравый смысл, но заглушить его в себе совсем все-таки не могла; иногда, позвав Феню, с ужасом спрашивала ее:

- Феня, что же это такое? Что же это значит?

Феня молча пожимала плечами. Почему же она-то знает, что это значит! Первое время она еще утешала и успокаивала барыню, но теперь она и сама почти всегда была не в духе, а приставание, слезы и отчаяние барыни только еще больше раздражали ее.

- Господи, да потерпите! - советовала она недовольным тоном. - Ведь нельзя же так, может, им и вправду некогда.

- Да ведь седьмая неделя, Феня, - безнадежно повторяла Марья Сергеевна.

Феня молчала и с сердитым лицом продолжала обметать пыль и мести комнату.

Марья Сергеевна, по возможности, крепилась перед всеми домашними, и особенно перед Наташей. Но с Феней она уже не могла и не хотела выдерживать характер. Хотя с кем-нибудь она должна была говорить о нем, плакать, мучиться перед кем-нибудь и искать поддержки и успокоения, и, по устоявшейся уже привычке, находила Феню более остальных для этого подходящей.

Наташа молча следила за матерью, и хотя они мало общались друг с другом, встречаясь почти исключительно за обедом и чаем, тем не менее Наташа видела, что Марья Сергеевна тоскует, мучается, болеет. Но знала, что помочь ей ничем нельзя. Поэтому она еще глубже уходила в свои занятия, делая себе из них что-то вроде развлечения. Когда-то, поступая в гимназию, Наташа была резвою и шаловливою девочкой и хотя не заводила себе особенно душевных подруг, как бы не желая этим изменять своей дружбе с матерью, но зато дружна была почти со всеми. Живая и впечатлительная, она затевала игры, возню и часто бывала даже заводилой различных партий. Теперь же, вся поглощенная своими семейными историями и измученная разладом отца с матерью, она как бы состарилась раньше времени.

Ее класс состоял почти весь из ее одноклассниц, девочек пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, но в последний год она постепенно отходила от них, и их интересы, мечты и жизнь сделались ей чужды и непонятны. Теперь ее класс уже не играл и не шалил, как еще два года тому назад. Девочки подросли, из подростков становились постепенно молоденькими девушками, в которых начинали проглядывать уже будущие женщины с их натурами и призванием. Почти у каждой из них уже начинала зарождаться "своя жизнь" и, побросав игрушки, они потихоньку зачитывались романами, мечтая по-своему о любви, замужестве и будущих героях.

Наташа не мечтала ни о чем и не желала ничего. Любовь вызывала в ней отвращение, и все мужчины делились для нее на два типа: один представлял ей в образе отца, прекрасным и великодушным, другой олицетворялся Вабельским, то есть был низок и ничтожен. К первому принадлежал только один Павел Петрович, а ко второму - все остальные мужчины с Вабельским во главе. А потому всякая мысль о любви и замужестве была ей противна. Она не понимала, как ее товарки могут мечтать о ней. Слушая их рассказы, она мысленно удивлялась их наивности и, как бы заранее предвидя все то горе и несчастье, которые, как ей казалось, должно будет принести им осуществление их надежд и мечтаний, смотрела на них с состраданием и даже с презрением. О своем будущем она уже ничего не загадывала и старалась совсем не думать о нем. Все мечты и желания ее сбились, спутались, и, чувствуя их невозможность и двойственность, она потеряла веру в их осуществление, не умея найти хоть сколько-нибудь счастливого выхода из того ужасного положения, в котором очутились они все, то есть отец, мать и она сама. Все будущее представлялось ей печальным, и сама жизнь, не только ее личная, но и всего человечества, казалась ей чем-то тяжелым, трудным и неприятным.

Наташа часто с удивлением спрашивала себя: "Неужели мама не видит и не понимает, какой это человек? А если видит и понимает, то как же может любить?" И Наташа поражалась этому странному ослеплению. Почему же она, еще совсем неопытная девочка в сравнении с матерью, сразу поняла его, и не только его самого, но и его пошлое, легкомысленное отношение к любимой женщине, тогда как Марья Сергеевна, очевидно, этого не замечала и вполне верила в честность и искренность его любви к ней? Даже теперь, когда дело стало окончательно ясно,

Марья Сергеевна все еще, как бы нарочно, не хотела видеть истину. И когда при получении писем от Виктора Алексеевича она бывала особенно весела и счастлива, Наташа молча следила за ней с тем же удивленным состраданием, с которым слушала и своих подруг, мечтающих о любви.

Если Марья Сергеевна была несчастна год тому назад, то теперь она была еще несчастнее, и Наташа хорошо понимала это. Видеть горе матери ей было больно и тяжело, но в то же время причина этого горя не вызывала в ней участия и жалости, а, скорее, была ей неприятна и вызывала только невольное чувство презрительного сострадания. Наташа не могла простить себе, что "тогда" просила Вабельского. Вспоминая об этом, каждый раз испытывала такой стыд и злость на самое себя, что, вспыхивая до корней волос и закрывая руками лицо, до боли закусывала губы. Зачем она унижалась перед ним? Зачем пошла просить? Она действовала тогда по какому-то страстному, безотчетному порыву, и в ту минуту ей казалось, что если она и не спасет этим мать, то хоть насколько возможно отведет от нее новый удар, новое страдание и горе. Как она не поняла тогда, что это ничему не поможет, ничего не улучшит и не принесет ничего, кроме нового унижения и мучительного стыда?

Наташа знала, что мать уже более шести недель не получала от Вабельского никакого известия, и с тревогой вглядывалась в ее постаревшее измученное лицо. Если до сих пор Марья Сергеевна могла заставлять себя не понимать, что Виктор Алексеевич совсем бросил ее, то теперь, с ужасом думала Наташа, она поймет, теперь уже нельзя не понять. И она со страхом и беспокойством ожидала, что из этого выйдет и как оно может подействовать на мать, когда та окончательно убедится в истине.

Не раз ей приходило в голову написать обо всем отцу и просить, умолять, чтобы он простил Марью Сергеевну, примирился с ней и снова взял их всех к себе. Но та жизнь, которая должна была начаться с того времени, как они снова поселятся вместе, то есть отец, мать, она и маленький Коля, - представлялась ей такою фальшивою, невозможною и даже отвратительною, что она с горечью бросала письмо и начинала другое, где уже ни одним словом не упоминала о случившемся.

Не будь этого ребенка, они могли бы еще как-нибудь примириться, казалось Наташе. Конечно, былого счастья, любви и уважения в семье уже не было бы, но по крайней мере они хоть жили бы снова вместе. С годами чувство неловкости и отчуждения, быть может, постепенно сгладились бы и, в конце концов, через несколько лет все было бы предано забвению, насколько это возможно в подобных случаях, и они жили бы если и не счастливо, то хоть спокойно. А теперь и это невозможно... благодаря этому ребенку! И злость против него еще сильнее поднималась в ней.

Ей казалось, что быть в их семье этот ребенок имеет так же мало права, как и его отец. А между тем уничтожить это право было уже невозможно: ребенок был даже сильнее отца и своим существованием завершал то разрушение их семьи, которое начал его отец. И Наташа, раздраженная всем этим, раздражалась еще сильнее от вечных его капризов, плача и крика, которыми маленький тиран словно нарочно мучил весь дом.

Марье Сергеевне казалось, что в этих капризах виноваты все, кроме самого Коли. Она обвиняла няньку, Наташу, доктора. Находила, что все они не умеют обращаться с ребенком и нарочно мучают и сердят его. И сердилась то на няньку, то на Наташу, то на новую горничную, которая особенно раздражала ее своей неумелостью.

Неделю назад Феня ушла, и для Марьи Сергеевны это было новым, неожиданным и сильным ударом, от которого она совершенно растерялась и даже заболела. Она упрашивала Феню остаться, обещала ей прибавку жалованья, подарки и даже плакала, но Феня осталась непреклонною. Нет уж, будет с нее! Довольно она мучилась!

С тех пор, как Виктор Алексеевич исчез, и Феня убедилась, что он окончательно бросил барыню, место это вдруг потеряло для нее всякую ценность и интерес. В доме царствовали беспорядок, болезни, тоска, ссоры, и Феня, привыкшая к хорошим местам в богатых домах, начала сильно скучать. Что, в самом деле, за наказание! Ни днем, ни ночью покоя нет! То мальчишка болен, плачет, капризничает, то барыня заболела! То с одним возись, то с другим! По ночам не спишь, живут, как затворники какие! Она и сама совсем больна; своя рубашка ближе... И, несмотря на все просьбы Марьи Сергеевны, Феня все-таки ушла. Она имела уже приглашение на новое место у одной французской актрисы, у которой жила прежде. К тому же, на крайний случай, у нее был уже сколочен изрядный для прислуги капитал, и, сознавая себя обеспеченною и независимою, она не желала "хоронить себя заживо и коротать весь свой век в четырех стенах" с плачущею Марьей Сергеевной и капризным ребенком.

**XIV** Тридцатого марта исполнилось ровно два месяца, как Марья Сергеевна получила последнее письмо от Виктора Алексеевича. Но в последнюю неделю она была даже бодрее и спокойнее, чем раньше. Случилось это потому, что, потеряв, наконец, терпение и мучаясь всевозможными предположениями, она решила съездить на квартиру Вабельского с целью узнать что-нибудь у Аристарха.

В квартире был один только Аристарх, так как новый жилец ее, которому она была сдана с мебелью и лакеем, уехал куда-то в театр.

Отворив дверь и увидев Марью Сергеевну, Аристарх, вполне постигший своего барина и чутьем опытного столичного лакея прекрасно знавший все его похождения, сразу понял, в чем дело. "Ну, на чаек получим!" - мгновенно решил он, встречая ее радостною и любезною улыбкой и приготовившись врать напропалую, лишь бы только побольше сорвать с нее.

Марья Сергеевна, закутанная в ротонду, с мягким белым платком на голове, смущенно стояла в дверях. Когда она решила поехать на квартиру Вабельского и узнать от Аристарха, где Виктор Алексеевич и что с ним, ей это казалось крайне простым и легким. Теперь же, стоя перед лакеем в этой передней, где она знала и помнила каждый уголок, она вдруг почувствовала себя страшно неловко и не знала, что сказать и как начать свои расспросы. Но сметливый Аристарх начал сам. Он давно догадывался, что барин "укатил" именно от нее и что она приехала что-нибудь разузнать.

- Давненько не видали вас, сударыня. Я уж сам собирался было сбежать к вам на квартиру, узнать, все ли у вас благополучно. - Он любезно и почтительно упрасивал ее войти и присесть. - Вы, сударыня, не извольте беспокоиться, у нас никого дома нет, я один во всей квартире.

Марья Сергеевна, застенчиво улыбаясь и краснея, но уже слегка ободренная любезным приемом Аристарха, сконфуженно переступила порог и опустилась на высокий дубовый стул. Но еще прежде Аристарх быстро схватил лежавшую на окне тряпку и, ловко смахнув ею со стула пыль, любезно проговорил:

- Пожалуйста, сударыня, присядьте-с; теперь чисто будет. Да, может, вам желательнее в кабинет было бы пройти?

Но Марья Сергеевна, избегая встречаться с ним взглядом, поспешно отказалась.

- Нет, нет, не надо, я на минуту.

На мгновение они оба замолчали. Марья Сергеевна оттого, что стеснялась сразу начать свои расспросы; Аристарх оттого, что еще не совсем уяснил себе - что ему врать и насколько барыня сама правду знает. Марья Сергеевна задыхалась от волнения, но хотела показать Аристарху, что это не от волнения, а из-за высокой лестницы.

- Высоко... - неопределенно проговорила она, кивнув головой в направлении лестницы.

- Это точно-с, - живо подхватил Аристарх. - Ежели-с кто с нежным здоровьем, так точно, что запыхаться можно. А нам-с, мужчинам, другая, значит, комплекция положена, так оно и выходит, что ничего-с! Всего третий этаж, пухом взлетишь! Кабы не это - так этакой квартире, как наша-с, и цены не было бы!

Но, зная, что все это только, так сказать, присказка, а настоящая-то сказка впереди будет, и что весь этот разговор Марья Сергеевна заводит только так, из учтивости и для отвода глаз, а сама желает совсем другого, он ловким и незаметным маневром старался направить его в должную сторону.

- Вот хоть бы и Виктору Алексеевичу...

Марья Сергеевна слегка вздрогнула, покраснела и быстро подняла глаза.

- Для них такая-с лестница ничего-с не стоит! Потому что, действительно, можно сказать, мужчина в полной силе. Ну, а если устанут, либо что еще, сейчас же садятся в машину и велят швейцару поднимать. Швейцар мне, значит, электрический звонок дает. Уж надо правду говорить: дом со всем комфортом устроен! Виктор Алексеевич уж сколько квартир допрежь этой пересмотрели - нет, не годятся, все что-нибудь да не так. Потому как им, по делам их, "кое-как" не подходит! Дела большие, а ведь, как говорится, сударыня, каждому кораблю и плавание, значит, особенное выходит!

С тех пор, как ушла Феня, Марья Сергеевна уже ни с кем не говорила о Викторе Алексеевиче, и Аристарх, распространявшийся о нем с такою охотой и любезностью, казался ей в эту минуту необыкновенно симпатичным, добрым и преданным не только лично Вабельскому, но как бы даже и ей самой, и она слушала его с удовольствием, не избегая уже его взглядов, и, глядя на него, улыбалась ласковою, благодарною улыбкой. Когда он заговорил о делах, Марья Сергеевна почувствовала, что именно теперь настал самый удобный момент перевести разговор на то, что больше всего интересовало ее и ради чего она приехала.

- Да, - тихо и все тем же, неопределенным каким-то тоном начала она, - у него очень серьезные дела. Вот и теперь... - Но она не договорила и остановилась почему-то.

Аристарх внимательно глядел на нее.

- Да-с, и теперь... - также неопределенно повторил он.

"Нужно ведь тоже со смыслом, - подумал он, - чтобы потом нахлобучки не получить...". Он немного помолчал, соображая, как бы ему начать половчее. И вдруг, тряхнув головой, он слегка откашлялся и, заложив одну руку за свой белый жилет, а другою задумчиво проводя по своим роскошным волнистым бакенбардам, спросил равнодушно, но почтительным тоном, как бы стараясь смягчить этой почтительностью неделикатность вопроса:

- А вы, сударыня, давно от них известия имели-с?

Марья Сергеевна ярко вспыхнула и быстро опустила глаза. Хотя она за этим и приехала, но теперь ей стало мучительно стыдно сознаться его лакею, что она уже больше двух месяцев не получала от его барина ни одной строчки. Но в то же время ей не хотелось и уезжать, не узнав ничего. Пересиливая смущение, она тихо, глядя куда-то в пространство, мимо головы Аристарха, проговорила:

- Да, давно... Я... Я вот и приехала узнать. Здоров ли? Не случилось ли с ним что-нибудь?

И, чувствуя на себе почтительный взор Аристарха, задумчиво устремленный на нее, она невольно покраснела все больше и больше.

- Он все время писал, - продолжала она сбивчиво и смущенно, - вот только теперь...

- Так-с...

Аристарх перевел свой задумчивый взор с ее лица на носки своих лакированных сапог и поглаживал, слегка теребя, свои бакенбарды.

- А... Вы... Ничего не получали от него? - и, спрашивая, она нарочно взглянула ему прямо в лицо, как бы желая на нем прочесть ответ.

Аристарх неопределенно усмехнулся.

- Мне-то им что же писать? Не о чем. Да хоть бы и было о чем, так и то, я так полагаю, вряд ли бы собрались. Скорей уж телеграмму пришлют, а писем никогда-с не писали...

Марья Сергеевна безнадежно глядела на него, и с ее разгоревшегося было лица уже сбегали живые краски, и оно снова принимало устало-апатичное выражение.

- Уж очень оне писать-то не любят! - продолжал Аристарх. - Верите ли, сударыня, даже когда что нужное, так и то, бывало, с трудом, с трудом себя принудить могут. Одно время так даже секретаря держали, потому как по их делам без переписки никак невозможно-с. Конечно, если уж там что по их собственным делам, так секретарю за них писать не приходится, зато оне так уж устроить стараются, чтобы без писем обойтись.

То, что говорил Аристарх, если и не могло совсем успокоить Марью Сергеевну, зато хоть немного утешало ее, объясняя ей отчасти причину странного молчания Виктора Алексеевича и оставляя ей хоть маленький лучик надежды. Но по ее печальному лицу Аристарх понимал, что этого еще очень мало и что барыне желалось бы чего-нибудь большего. Он прикидывал, что чем больше он обнадежит ее, тем лучше станет ее расположение духа и, следовательно, тем щедрее будет подачка.

- А вот г-ну Астафьеву оне точно писали-с... - начал он снова.

Марья Сергеевна встрепенулась.

- Какому Астафьеву?

- Товарищ тут ихний один. У них с ним дела кое-какие есть, так вот по этим самым делам и писали-с. А я в тот день как раз, значит, у них на квартире был, потому как ихний камердинер мне кумом приходится, так я у него чай пил. А барин-то выходит да и говорят мне: "Сейчас, Аристарх, от твоего барина письмо получил по одному делу, так он, между прочим, пишет, чтобы я тебе передал, чтобы ты на всякий случай комнату его каждый день протапливал (оне одну в запас нарочно оставили, даже на ключ заперли и ключ мне передали), да и вообще наготове держал бы, потому что он со дня на день приехать может".

- Неужели? - Марья Сергеевна разом оживилась и лицо засияло улыбкой. - Так и сказал?

- Так и сказали-с! - невозмутимо продолжал Аристарх, вдохновляясь все больше и больше.

- И даже г-н Астафьев передавали (оне - барин такой обходительный, разговорчивый), что Виктор Алексеевич пишут: страсть, как у этих немцев проклятых соскучились и ждут не дождутся, чтобы оттуда вырваться. Что только дела вот ихние все еще там не закончены, очень уж запутаны были, долго разбирать да хлопотать пришлось, а что как только закончат, так даже в тот же самый день домой выедут, потому что это теперь, можно сказать, мечта их.

- Неужели? - радостно повторяла Марья Сергеевна, и счастливая улыбка все ярче озаряла ее лицо.

- Да уж будьте спокойны, сударыня. Я ведь их не первый год знаю: слава Богу-с, шестой год служу, можно сказать, все ихние привычки выучил-с. Так полагаю, что оне и вам-то, сударыня, ничего не пишут только потому-с, что сами каждый день выехать надеются.

- Да, да, конечно, очень может быть!

Марья Сергеевна даже засмеялась: и как это раньше ей в голову не приходило! И как хорошо она сделала, что приехала узнать! Она предчувствовала, что все выйдет хорошо! И какой этот Аристарх славный, честный! Надо было раньше приехать к нему, по крайней мере, все это время она была бы спокойна.

- А давно он это писал?

- Да уж порядочно: недели две с лишним будет. Теперь оне непременно скоро должны быть; я и комнату каждый день топлю.

Ну вот, а она-то мучилась, беспокоилась, глупая, каких страхов себе только не выдумывала. Задумчиво улыбаясь, она просидела несколько мгновений совсем молча, слегка прищуривая свои остановившиеся в одной точке глаза, не то о чем-то думая, не то о чем-то вспоминая. Наконец она поднялась со стула и взглянула еще раз на Аристарха: какое у него славное, доброе лицо!

- Ну, прощайте, Аристарх, - проговорила она, улыбаясь, и слегка смущенным жестом вложила в его руку десятирублевую бумажку. Сначала она думала дать ему рубля три, но теперь ей казалось, что этого слишком мало и хотелось дать больше.

Аристарх, ощутив бумажку и заметив уже ее розовый цвет, кланялся, благодарил и даже с особым чувством приложился к руке Марьи Сергеевны, которую она сконфуженно и торопливо вырвала у него.

- Не за что, не за что, - смущенно говорила она. - Покажите мне лучше его комнаты, мне хочется немного посмотреть на них.

- Господи! Да сколько пожелаете, сударыня, сделайте милость! Нам от этого только удовольствие, - и он кинулся вперед, распахивая перед нею все двери и быстро, на ходу, поправляя зачем-то скатерти на столах и стульях.

Марья Сергеевна, не спеша, прошла все комнаты, останавливаясь на несколько секунд в каждой из них и оглядывая знакомые стены и мебель ласковым и нежным взглядом. Ей было и грустно, и отрадно; задумчиво улыбаясь одними глазами, она вызывала в своей памяти те вечера, которые когда-то проводила тут, рядом с ним... Как тогда было хорошо! И как счастлива была она! А теперь.... Неужели кончено? Нет, нет, она не верит, не хочет, не может этому верить, скоро тяжелое время пройдет - она предчувствует! - и снова все будет хорошо.

Аристарх все так же почтительно, быстро и любезно выбежал провожать ее на лестницу. Спустившись до самой швейцарской, он торопливо отстранил швейцара и посадил ее на ожидавшего извозчика, и, пока тот отъезжал, все время кланялся и посылал ей любезные пожелания доброго здоровья и всякого благополучия.

*Продолжение следует...*

**М.В. Крестовская.**

*Как я смогла так точно промахнуться?*



**Опять стемнело.** Хочется все бросить.  
Нет ни одной протянутой руки.  
Но есть Господь, к которому, как в гости,  
Приходим мы, зажатые в тиски,  
С последней каплей веры во спасение,  
С душою, озверевшей от тоски.  
Тогда однажды в знак Его прощения  
Нас согревают люди-маяки.  
Их свет не резок, - тихий, окрыляющий,  
С любовью поднимающий с колен,  
В своем свечении горечь растворяющий  
И не просящий ничего взамен.

**Ирина Батарева-Колесникова**



**Да, Вы со мною были нечестны.**  
Вы предали меня. И может статься,  
Не стоило бы долго разбираться,  
Нужны Вы мне теперь иль не нужны?  
Нет, я не жажду никакой расплаты  
И, как не жгут минувшего следы,  
Будь предо мной Вы только виноваты,  
То это было б пол еще беды.  
Но Вы с душой недоброю своей,  
Всего скорее даже не увидели,  
Что вслед за мною ни за что обидели,  
Совсем для Вас неведомых людей...  
Всех тех, кому я после встречи с Вами,  
Как может быть, они ни хороши,  
Отвечу не сердечными словами,  
А горьким недоверием души

**Эдуард Асадов**

# ПОЛТИННИК

Молодёжный раздел



В наш город приехал зоопарк. Сейчас подобное событие может показаться будничным и неинтересным, но тогда, в самом начале 70х, для подмосковной глупинки оно было значительным.

Говорили, что расположился зоопарк на поляне возле реки, а главное, - в первый же день его приезда по улице Ленина провели бегемота, вернее, бегемотиху по прозвищу Лота. Две тонны. В свои без малого шесть лет я знал о бегемотах по картинкам и телепередаче «В мире животных» и, конечно же, очень мечтал увидеть их взаправду.

Но вот прошел день, другой, а я оставался ни с чем. Мама, как обычно, была очень занята, а отец после рейсов возвращался домой слишком поздно. На брата же, тогда пятнадцатилетнего подростка, надежды не было никакой: свои интересы. А мне так хотелось в зоопарк! Так хотелось!

В среду вечером отец сказал мне:

- Не грусти. Завтра я приду с работы пораньше, часа в четыре, и мы с тобой обязательно сходим в зоопарк. Обещаю. Вот здесь - и на билеты, и на мороженое. - С этими словами он торжественно достал из кармана брюк полтинник и положил его на верх книжного шкафа.

Утро следующего дня тянулось как никогда медленно. Я то и дело подходил к настенным часам, висевшим в большой комнате, прислушивался, ходят ли они, не остановились ли. И ждал.

Было солнечно и тепло. Бабушка, по обыкновению, вязала в комнате. Я же, взяв все необходимое для рисования, перебрался из дома на воздух, в беседку. Но и в ней мысль о зоопарке не давала покоя: вскоре нарисованные слон, черепаха и бегемотиха Лота смотрели на меня, словно упрекая: «Ну, что же ты? Мы уже давно приехали, а ты еще ни разу не пришел». «Сегодня приду! Приду», - мысленно пообещал я и в очередной раз побежал в дом посмотреть, сколько времени на часах.

Около двенадцати со «школьной отработки, чтоб ее!» пришел мой старший брат Миша со своим приятелем, которого все в округе почему-то звали Рыжий, хотя волосы у него были совсем не рыжие. Оба подошли к беседке.

- Привет, Сережка! Чего рисуешь? Ну-ка, - с этими словами Рыжий взял в руки лист с Лотой. - Ну ты даешь! Таких бегемотов не бывает. Он же у тебя синий. А они разве синие?

- А мне так больше нравится. И вообще, папа говорит, что дело не в цвете, - возразил я, не будучи уверенным, что отец говорил именно так.

- Понимал бы чего! Синих зверей вообще не бывает, - добавил брат. - Мазила!

И они оба громко засмеялись.

- Отец - художник, а сын - маляр, - добавил Рыжий; и снова - взрыв хохота.

Я ничуть не обиделся. Я привык, что так меня дразнили. Мой отец, и вправду, хорошо рисовал. Но иногда совсем непонятно: какие-то линии, пятна, расплывшиеся силуэты. Иногда казалось, что на картину выплеснули воду и краски растеклись. Но все равно было здорово. С весны до осени отец работал на одной из двух террас дома. Я любил проникать туда и, пока не было отца, долго сидеть, вдыхая стойкий запах скипидара, перебирая многочисленные тюбики красок, кисти, дощечки, инструменты. Для меня это был непонятный, притягивающий к себе мир. Там же, на террасе, в одном из ящиков письменного стола лежали самодельные книжки. А еще фотографии, где были не люди, не растения и даже не животные, а какие-то тексты. Они были аккуратно скреплены между собой. Отец никому не разрешал лазить в стол, и, когда однажды застал меня за этим занятием, всерьез рассердился. Он даже стал закрывать дверь в террасу на ключ. И мне приходилось лазить туда через окно комнаты.

Как-то раз в один из вечеров отец стал разбираться в террасе. Некоторые картины он порезал: наверное, они ему перестали нравиться. Некоторые, в рамках, убрал на чердак. Остальные свернул в трубочки. И ушел куда-то, взяв их с собой.

Мама почему-то плакала ночью. Я слышал. Вернулся отец через несколько дней и вскоре стал работать шофером на большой машине. Возможно, ему разонравилось рисовать, и он решил ездить на большой машине в другие города. Он любил дороги. Как же их не любить?! Я вот тоже любил. Особенно, когда отец брал меня в поездки. Иногда назад мы возвращались затемно на его машине под номером - 39-01 ЮАЗ.

Хорошо помню то время. Хотя прошло много лет, память до сих пор сохраняет все запахи и звуки, окружавшие меня тогда, ожидание прихода отца с работы, строгий бабушкин голос,

мамины песни, рыбалки с братом и Рыжим. Сохраняет память наш дом и большой сад, окружавший его, беседку, уютную плющом. Много чего. Увы, все это живо лишь в воспоминаниях.

- И травы красной не бывает. Ты опять, Сережка, цвета перепутал, - уже серьезно сказал брат. - Я же тебе говорил, что баночка с зеленой краской - первая в верхнем ряду. Рисуи лучше простым карандашом, а вечером вместе разукрасим. Ладно?

- А я сегодня в зоопарк пойду с папой, - похвалился я. - Он сказал мне вчера перед сном.

- Когда он с работы вернется, звери уже спать будут, - заметил Миша. - Так что ты особо не жди. Я сам слышал, как отец маме говорил, что работы много.

- Неправда. Он мне сказал, что мы с ним в зоопарк пойдем сегодня, - с легкой обидой пролепетал я. - Он обещал, что пойдем.

Я всегда верил отцу - он никогда меня не обманывал. Но слова брата пробудили во мне какое-то странное чувство.

- Мы пойдем в зоопарк. Сегодня же и пойдем, - насупившись, как будто стремясь кому-то что-то доказать, не унимался я.

- Да ладно, Серый, успокойся. Сходишь ты в свой зоопарк. Может, там и неинтересно. Мы тебе расскажем вечером, - по-своему решил поддержать меня Рыжий.

- А вы тоже пойдете, что ли? А когда? - я пристально посмотрел вначале на Рыжего, а затем на брата. - Пойдете, да?

- Пойдем, - нехотя ответил Миша, покрутив пальцем у виска.

Жест адресовался Рыжему. Видимо, брат не хотел, чтобы я знал об их планах.

- А когда?

Повисла пауза.

- Когда пойдете?

- Сейчас, - сдавшись, произнес Миша и сурово посмотрел на своего товарища.

- Да ладно. Чего ты? - извинительно пробормотал Рыжий.

И тут я не удержался:

- Возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста.

- Дома сиди, жди маму. Бабушка скоро закончит, почитает тебе что-нибудь. Вечером папа придет, сходишь с ним, - не отзываясь на мою мольбу, стоял на своем мой бесчувственный брат.

- А вдруг не придет? - я ужаснулся сказанному, но так невыносимо хотелось в зоопарк.

- Денег тебе на билет у нас нет, - не сдавался брат.

- У меня есть! Полтинник! - мое падение было стремительным. - Мне папа дал. Там, на шкафу лежит.

Брат и Рыжий переглянулись.

- Да ладно, Мишка. Давай возьмем. Чего там.

Брат ответил не сразу, видимо, прикидывая, как лучше поступить.

- Ну ладно, возьмем, только за удовольствие все денежки нам отдашь. И не говори, что мы курить будем, а то сам знаешь чего.., - Миша угрожающе показал мне кулак. - Папа спросит, куда потратили деньги, скажешь на мороженое. Идет?

- Идет.

Торг был окончен. Миша сходил в дом, взял со шкафа оставленный отцом полтинник, а заодно сказал бабушке, что берет меня с собой в зоопарк. И мы втроем отправились навстречу моей маленькой мечте.

В зоопарке было здорово. Там были обезьяны, ягуар и бегемотиха Лота, а еще лев и много других зверей. Но мне стало немного грустно: все звери лежали в своих тесных клетках или ходили по ним туда-сюда. Им, наверное, было не так хорошо, как нам. Особенно мне запомнились грустные глаза лошади, прежний хозяин которой носил фамилию Поживальский...

Домой мы возвращались по берегу реки. Посидели около спасательной станции. Миша с Рыжим курили заранее купленные папиросы, потом жевали листья, чтобы отбить запах. Когда подошли к самому нашему дому, брат втолкнул меня в калитку и пошел гулять дальше. Я же подбежал к маме, только что вернувшейся с работы:

- Мама, мама, а мы в зоопарке были, - торопился я поделиться с ней своей радостью.

- Вот и молодцы мои. Понравилось?

- Очень! Там такие обезьяны смешные. Мам, а Лота больша-а-я такая, толстая, - я развел руки в стороны, стараясь показать ее размеры. - А еще лев злой. И филин...

Ровно в четыре часа, когда на террасе я, мама и бабушка сидели за столом и пили чай, послышался звук открывающейся калитки, знакомые шаги по дорожке, затем открылась входная дверь, и в проеме показалась фигура отца. Сердце мое замерло.



- Всем привет, вот и я! - радостно прогремел он. И, подойдя к столу, произнес. - Ну что, сын? В зоопарк?

Онемевший, смотрел я на отца. Смотрел, не слыша ничего и никого. Лишь чувствовал: вот-вот расплачусь. Если бы я мог в эту минуту провалиться под землю, с радостью бы это сделал.

- Ты не заболел? Сережа, что с тобой? - вдруг сквозь глухоту прорезался тревожный голос мамы.

- Собирайся, пошли бегемота смотреть, - улыбаясь, проговорил отец.

И тут я сорвался с места и бегом - из дома. В саду забился в самый глухой уголок, возле сарайчика, где обильно росла крапива, и - навзрыд. Рыдал до тех пор, пока отец не нашел меня. Он подошел ко мне, присел на корточки и погладил меня по голове. Потом обнял своими большими сильными руками, прижал к себе. Не переставая плакать, я уткнулся в его грудь. Отец продолжал гладить меня по волосам, и мне становилось хорошо и спокойно. Я затихал. Все еще всхлипывая, я пробормотал:

- Я... Я был... В зоопарке... С... Мишей. Не дож... дождался тебя.

- Ну и ничего. Мы с тобой в воскресенье туда еще раз сходим. И маму возьмем с собой. Возьмем?

- Да. Я... Очень хотел...

- А каких зверей видел?

Тут я отнял лицо от его груди и стал рассказывать:

- Там... там бег... бегемотиха... - я провел рукой по лицу, смахивая мешавшие слезы. - Большая такая. Лота зовут. Орел есть.

- Орел? Красивый, наверное? - спросил отец, вытирая мне щеки.

- Красивый, пап! Там... много зверей, - я уже совсем успокоился. - Пап, а кто такой Пожевальский?

- Кто?

- Пожевальский. Он свою лошадь в зоопарк отдал.

- Кто это тебе сказал?

- Рыжий. Я спросил, почему лошадь так зовут, а он мне так сказал.

- А, понятно. Пржевальский, а не Пожевальский. Идем, я тебе расскажу про него. Давай пять.

И, взявшись за руки, мы с отцом пошли к дому, где нас ждали взволнованные мама и бабушка. И рассказ о знаменитом русском путешественнике. И еще много-много счастливых минут моего детства.



**В. БОДРОВ.** Россия.

*Жизнь - это период времени, первую половину которого нам отравляют родители, а вторую - дети.*

## Волшебные яблоки



Вчера я спорила с мамой, она говорит, что волшебства не бывает. Ни большого, ни маленького. Никакого. А я твердила, что есть. Закончилось тем, что пришла бабушка Оля с прабабушкой Леной и вывели меня во двор.

Посреди нашего двора растут три старых яблони, такие старые, что даже прабабушка Лена с них яблоки собирала. Она мне и рассказала о том, что яблоки эти волшебные.

Давным давно, когда была война и был голод... Я не знала, что это слово значит, но бабушка объяснила, это когда совсем кушать нечего и взять негде, то её мама (прабабушка Оля) припасла сушёных яблок, сейчас они яблочными чипсами называются, и детей и семью от смерти спасла.

После того случая мы всегда на зиму, да и на всякий случай, яблоки сушим. В сарае и на сеновале мешка три запасаем.

Весной яблони цветут красиво-красиво, и пахнут, как мамины духи. Прилетает много пчёл, они кружатся и жужжат. Мама говорит, что они трудятся. Я не понимаю - папа тоже трудится, но не жужжит. Потом цветы облетают и на их месте появляются малюсенькие яблочки. Ну совсем маленькие. И каждое хочет поймать солнечные лучи, потому что они волшебные и от

них растут. Я тоже стараюсь больше на солнышке гулять. Ну и дождик, конечно, тоже яблочкам нужен, он их волшебной водичкой поит.

А ближе к лету яблони будто улыбаются, гордятся своими детишками, кругленькими да гладенькими, с красноватыми упругими бочками. Висят на дереве, словно ёлочные игрушки. И каждая игрушка - волшебная. Не верите? Ну и зря! Мама тоже не верила, а я ей доказала.

Когда осенью собрали большой урожай, мне мама в школу по три яблока в день давала. Я ещё просила, но она и так удивлялась, куда в меня столько лезет. А я только одно яблоко съедала, а иногда и ни одного. Потому что надо больше о других людях думать - о тех, кому сейчас хуже. Вы спросите: почему яблоки волшебные? А я отвечу, потому что они всем дарят улыбку, а без улыбки жить нельзя.

У нас в школе мальчишка есть, Вовка. Он всех девчонок за косички дёргает, они ругаются и даже к директору жаловаться ходили. А я ему своё волшебное яблоко дала, он мне улыбнулся и больше не обижает.

А ещё у нас в школе дворник есть, он по-русски не говорит, все над ним смеются. Я ему тоже своё яблоко дала, и он мне улыбнулся, сказал: "рахмат"... - наверное - спасибо.

Бабушка говорит, что в мире много злых людей живёт, я думаю потому они злые, что у них нет волшебных яблок, которые дарят улыбку.

Сегодня в школе учительница спросила: "кем вы станете, когда вырастаете?" Я подняла руку и ответила: "хочу растить волшебные яблоки". Весь класс вместе с учительницей смеялся. Я на них не обижаюсь, они ведь не знают моего секрета.

© Copyright: Олег Крюков 3, 2016

Сайт Проза.ру

Свидетельство о публикации №216031100210

## СВЕТЛЯК

Леса, пески, сухой и теплый воздух,  
Напев сверчков, таинственно простой.  
Над головою - небо в бледных звездах,  
Под хвоей - сумрак, мягкий и густой.  
Вот и она, забытая, глухая,  
Часовенка в бору: издалика  
Мерцает в ней, всю ночь не потухая,  
Зеленая лампадка светляка.  
Когда-то озаряла нам дорогу  
Другая в этой сумрачной глуши...  
Но чья святей? Равноугоден Богу  
Свет и во тьме немеркнувшей души.

Иван БУНИН.

## Волчий аппетит

Зайчиха зайцу говорит:  
– Мы на волков похожи:  
У волка - волчий аппетит,  
У нас с тобою - тоже.  
- У волка аппетит иной, -  
Ответил заяц грустно, -  
Ведь утоляет голод свой  
Он не листом капустным...

Евгений Новицкий.

Украина.



## Повар

Повар готовил обед,  
А тут отключили свет.  
Повар леща берет  
И опускает в компот.

Бросает в котел поленья,  
В печку кладет варенье,  
Мешает суп кочережкой,  
Угли бьет поварешкой.

Сахар сыплет в бульон,  
И очень доволен он.  
То-то был винегрет,  
Когда починили свет!

Григорьев Олег.

Детей своих рабски порой любя -  
мы их превращаем в своих мучителей.  
Когда же родители любят себя,  
то дети молятся на родителей.

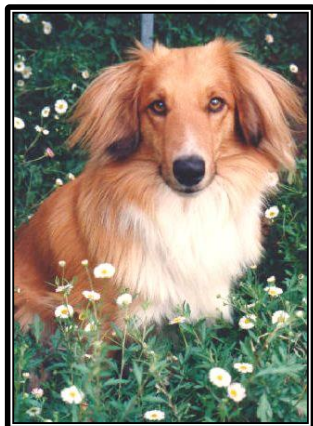
Эдуард Асадов



# Тузик и его друзья



## Волшебная гостья.



Никто на Шумном Дворе не ожидал такого чуда. С самого утра над большой клумбой - и даже вокруг Леопарда, и даже по всему двору - летает крошечная девочка. Да-да, крошечная, размером с ладошку. Зато крылышки у неё очень большие. Больше, чем у бабочки. И такие прозрачные, что сквозь них всё видно. Когда девочка летит, то крылышки тихонько звенят и золотым веером светятся на солнце...

Тузик и Матильда Леопольдовна с любопытством наблюдают. Тузик не хочет лаять, чтобы не испугать крошечную гостью. Белая кошка тоже не гоняется по двору за девочкой с крылышками - не ловит её лапками, как если бы это была простая бабочка... Оба молчат, только глазами во все стороны водят - вот ведь, что творится! Даже Леопард - и тот не скрипит ветками.

А девочка всё порхает, да порхает среди цветов. Время от времени она наклоняется и целует лепестки. Потом летит дальше - собирает с листьев капельки росы. Зачем? Она эту росу пьёт. И ещё - умывает в ней личико.

Проснулись утром гномики, выбежали во двор. Смотрят на маленькую гостью - и глазам не верят: а вдруг это всё ещё сон? Стали тереть кулачками глаза: может, никакой волшебной девочки нет, и всё это только кажется?

Не успели малыши так подумать, как девочка тут же брызнула в гномиков росой и звонко рассмеялась.

- Шалит точь-в-точь, как мы с тобой... - с удивлением сказал Говорилка и посмотрел на братишку. - Значит, она настоящая..? И ничего нам не кажется..?

Тузику и Матильде Леопольдовне стало весело. Бублик вытер ладошкой мокрую рожицу и радостно закричал:

- Фея, а фея, ты откуда прилетела?

- Скажи, волшебная девочка, как тебя зовут? - спросил Говорилка.

- Я в цветке родилась, и потому очень люблю цветы, - тоненьким голоском ответила девочка. - А зовут меня - Стрекозинка, потому что у меня крылышки прозрачные, как у стрекозы...

Крошечная девочка махнула крошечной ручкой и полетела дальше.

- Вот бы нам такую подружку! Играла бы с нами на Шумном Дворе, - тихонько вздохнул Бублик.

Говорилка толкнул братишку в бок и громко прошептал:

- А разве ей можно - играть с нами? Всё-таки Стрекозинка - волшебная. Наверное, она фея...

- А если фея, - обрадовался Бублик, - значит, ей надо подарить бублик.

- Зачем ей твой бублик, глупыш! Мы подарим фее цветочки! - засмеялся Говорилка.

Гномики побежали по двору. Каждый спешит нарвать для Стрекозинки цветов. Выбирают самые красивые, и обязательно - маленькие, ведь Стрекозинка тоже крошечная.

Гномики начали спорить - кто первым будет цветы дарить...

- Сначала Я подарю фее букетик! Я - первый придумал... - пыхтит Бублик.

- Нет, я! - сердито шепчет Говорилка и толкает братишку.

Фея увидела, что гномики ворчат, друг с другом ссорятся. Издали погрозила малышам пальчиком:

- Нет-нет, так нельзя! Вы - братишки, а ну, сейчас же помиритесь! Иначе ни за что не приму от вас цветов.

Гномики друг дружку очень любят, и ворчать начали как-то случайно. Поэтому они сразу помирились.

Подошли к Стрекозинке. Каждый протягивает гостье маленький букетик. Оба весело смеются. Только смотрят - цветы в их руках начинают осыпаться, вот-вот завянут...

- Спасибо, малыши, за чудесные букетики, - сказала Стрекозинка. - Но больше цветов не рвите, ведь они быстро вянут. В следующий раз подарите мне целую клумбу цветов: люблю, когда цветочки живут и дышат, и радуют всех своей красотой...

- Ой! Следующий раз! - повторил Говорилка, и рожица его просияла от радости. - Значит, ты придёшь к нам в гости ещё раз??!!

- Как это здорово! Стрекозинка опять к нам придёт! - прыгает и хлопает в ладошки Бублик.

- Ур-ра! Ты будешь нашей подружкой! - кричат на весь двор гномики.

- Буду, буду вашей подружкой, - засмеялась Стрекозинка, - опять приду в гости! - Только уговор: никогда больше не ворчать и не толкаться.

Никто не заметил, как осторожно ступая подошёл Тузик:

- Ты прости малышей, Стрекозинка. Это получилось нечаянно. Просто Леопард забыл, что нельзя шуметь, и заскрипел веткой. Вот тебе и послышалось, что гномики «ворчат». А Бублик и Говорилка дружные, правда.

Стрекозинка послала Тузику воздушный поцелуй. Потом, звеня крылышками, подлетела и погладила ему нос.

- Ты очень хороший друг! Вижу, почему гномики тебя так любят...

- Обязательно приходи к нам, Стрекозинка, - сказала Матильда Леопольдовна. - Мы с Тузиком тоже будем тебе рады.

- Я не стану громко лаять, - положил голову на лапы Тузик.

- А я постараюсь больше никогда не гоняться за бабочками... - мурлыкнула белая кошка.

Детские страницы



СОДЕРЖАНИЕ

Святая Троица (стих. Л. Громова)	1
Не развеют извечных тревог... (стих. А.Лазутин)	1
В поисках солнца (стих. А. Гушан)	1
О духовном компромиссе (статья, Ильин)	2
Муза (стих. Мария Петровых)	6
Звёздный хлеб (стих. Юрий Берг)	6
Лебеди (стих. А.Лазутин)	6
Очень вредная работа (рассказ, С. Криворотов)	7
Сердце матери (рассказ, Михаил Смирнов)	10
Третий поезд (стих. Дм. Казарин)	11
Шарлотка (юморис. рассказ, Игумен Герман Скрыпник)	12
Русалкин телефон (юморис. рассказ, Саша Кметт)	13
Удит рыбу... (стих.шутка, В.К. Невярович)	14
Ты меня не любишь... (стих.шутка, Эдуард Асадов)	14
Баллада о Вороном (рассказ, Микола Тютюнник)	15
Скелеты старых кораблей (стих. Олег Крюков 3)	25
Друг предаёт (стих. Терентій Травнік)	25
Г.И. Гончаров (биогр.)	26
После смерти (рассказ, Ген. Гончаров)	26
Нет, друзья не там... (стих. Эдуард Асадов)	32
Саломея (роман, А.Ф. Вельтман)	33
Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская)	46
Опять стемнело... (стих. Ирина Батарева-Колесникова)	56
Да, Вы со мною были нечестны... (стих. Эдуард Асадов)	56
Полтинник (рассказ, В. Бодров)	57
Волшебные яблоки (рассказ, Олег Крюков 3)	59
Светляк (стих. Иван Бунин)	60
Повар (стих. Григорьев Олег)	60
Волчий аппетит (стих. Евг. Новицкий)	60
Детей своих... (стих. Эдуард Асадов)	60
Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора)	61

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - 0404-559-294. А также в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимир-ской церкви (Рокли) в Брисбене, а также - З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

**ВНИМАНИЕ !**

Готовится к изданию сборник стихов,  
рассказов и путевых заметок Т.Н. Малеевской.

Приблиз. дата выпуска - во второй половине 2017 г.

За справками обращаться –  
tmaleevsky10zabelsky@gmail.com



**Т. Малеевская**  
«Страна отцов»  
«Серебряный город»  
«Душенька»:  
А также книга  
**В.А. Малеевского** «Претенденты  
на Российский Престол»  
За справками обращаться:  
**(07) 3161-49-27**  
или  
tmaleevsky10zabelsky@gmail.com

**Литературный кружок  
«Жемчужное Слово»**  
<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

**Сайты связанные  
с журналом «Жемчужина»**  
Электронная версия журнала «Жемчужина»  
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>  
Новый сайт «Русское Зарубежье»  
Посвящается Харбинцам  
и послевоенным эмигрантам из Европы -  
<http://ruskojezarubezhje.yolasite.com>  
Также личный сайт автора -  
[tamaleevwriting.yolasite.com](http://tamaleevwriting.yolasite.com)

